

# Умберто Эко

## Пять эссе на темы этики

### Аннотация

*Умберто Эко* (р. 1932) — выдающийся итальянский писатель, известный русскому читателю, прежде всего, как автор романов «Имя Розы» (1980), «Маятник Фуко» (1988) и «Остров накануне» (1995).

В мировом научном сообществе профессор Умберто Эко, почётный доктор многих иностранных университетов, знаменит в первую очередь своими работами по медиевистике, истории культуры и семиотике. Однако, занимая активную гражданскую позицию и регулярно выступая в периодической печати, он сделался своеобразным «нравственным барометром» для итальянского общества, во всяком случае — для значительной его части. При всём том Эко не часто высказывается напрямую на темы этики и общественной морали.

Этот сборник эссе, опубликованный издательством «Бомпиани» в 1997 году — одно из редких исключений.

### Предисловие

У собранных здесь эссе две общих характеристики. Во-первых, они создавались по случаю, для выступления на конференциях и заседаниях. Во-вторых, при всем разнообразии тематики все эссе носят этический характер, то есть говорят о том, что делать хорошо, что делать дурно и чего не следует делать ни при каких обстоятельствах.

Учитывая случайность появления этих текстов, думается, важно указать, для чего создавался каждый, без этого будет трудно их понять.

«*Когда на сцену приходит Другой*» — текст моего ответа кардиналу Карло Мария Мартини в эпистолярной серии из четырех писем, организованных и опубликованных журналом «Либерал». Потом эта переписка вышла отдельным изданием («Во что верит тот, кто не верит?», Рим, Атлантиде, 1996). Публикуемый ниже текст был призван ответить на вопрос, обращенный ко мне кардиналом Мартини: «На чем основывает уверенность и императивность своего морального действия тот, кто не намерен, для обоснования абсолюта этики, опираться ни на метафизические принципы, ни на трансцендентальные ценности вообще, ни даже на категорические императивы, имеющие универсальный характер?» Для полного представления о дискуссии отсылаю читателя к указанному тому, включающему комментарии, послесловия и реплики Эмануэле Северино, Манлио Згаламбро, Эудженио Скальфари, Индро Монтанелли, Витторио Фoa и Клаудио Мартелли.

«*Осмысляя войну*» — опубликовано в газете «Ла ривиста деи либри», № 1 (апрель 1991), в дни войны в Персидском заливе.

«*Вечный фашизм*» — доклад (англоязычная версия) на симпозиуме, проводившемся итальянским и французским отделениями Колумбийского университета (Нью-Йорк) 25 апреля 1995 г., в юбилей освобождения Европы. Опубликовано под заглавием «Eternal Fascism» в «Нью-Йорк Ревью оф Букс» 22 июня 1995 г., затем в итальянском переводе в «Ла ривиста деи либри» за июль-август 1995-го под названием «Тоталитаризм fuzzy и ур-фашизм» (публикуемый ниже вариант отличается лишь незначительными стилистическими поправками). Но следует учитывать, что этот текст создавался для американских студентов и был прочитан на симпозиуме в дни, когда Америка была потрясена оклахомским терактом и открытием того, что в общем не являлось секретом, — что в США имеются правозэкстремистские

военизированные организации. Тема антифашизма приобрела особые коннотации в этих обстоятельствах, и рассуждение исторического плана было призвано способствовать размышлениям о современной ситуации в разных точках земного шара. Выступление было переведено на многие языки и опубликовано во многих странах. Так как эссе рассчитывалось на американских студентов, понятно, почему в нем избыточны факты и разъяснения почти школьного характера, а также к чему столько цитат из Рузвельта (Рузвельт — символ американского антифашизма) и почему я особо отмечаю встречу европейских и американских солдат в дни освобождения Европы.

«*O прессе*» — доклад на семинаре, проводившемся в верхней палате нашего парламента (Сенате) в период президентства Карло Сконьямильо. Участвовали сенаторы и главные редакторы наших крупных ежедневных изданий. Вслед за докладом имела место живая дискуссия. Текст публиковался, при поддержке того же Сената, в сборнике «Научные заседания в Палаццо Джустиниани. Пресса и политика сегодня» (Рим, Типография Сената, 1995). В сборник вошли выступления Карло Сконьямильо, Эудженио Скальфари, Джулио Ансельми, Франческо Табладина, Сильвано Бороли, Вальтера Вельтрони, Сальваторе Карруба, Дарко Братина, Ливио Капуто и Паоло Миели.

«*Миграции, терпимость и нестерпимое*» — это коллаж. Первый отрывок — начальный пассаж моего вступительного слова 23 января 1997 г. на открытии конгресса, проводившегося в Валенсии на тему «Перспективы третьего тысячелетия». Вторая часть — это переведенное и переработанное вступительное слово на Международном форуме по толерантности, проводившемся в Париже Всемирной академией культуры 26-27 марта 1997 г. Третий кусок — статья в «Республика» в дни опубликования приговора римского военного суда по делу Прибке.

1997

## Когда на сцену приходит другой

Глубокоуважаемый Господин Кардинал,

Ваше письмо выводит меня из сильного затруднения, но ставит в новое затруднение, тоже сильное. Пока что именно я (поневоле) выступал зачинщиком в беседе, а тот, кто начинает, неизбежно задает вопросы и ждет, пока собеседник ответит. Отсюда первая неловкость, быть в положении допрашивающего. В то же время я высоко ценю решительность и смирение, с которыми Вы трижды опровергаете теорию, по которой иезуиты отвечают на вопросы только встречными вопросами.

Второе же мое затруднение связано, напротив, именно с необходимостью ответить на вопрос, исходящий от Вас. Мой ответ был бы показателен, получи я в свое время светское воспитание. Я же испытывал сильнейшее влияние католицизма вплоть до возраста (обозначу момент перелома) двадцати двух лет. Внерелигиозное мировоззрение, таким образом, было мною не пассивно усвоено, а выстрадано в процессе длительного и медлительного преобразования, и до сей поры я не могу знать, насколько мои моральные взгляды определяются отпечатком той религиозности, которая была мне привита в начале жизни. В прожитые впоследствии годы мне приходилось присутствовать (в одном зарубежном католическом университете, куда приглашают, в частности, и профессоров, далеких от религии, ожидая от них не более чем формально-почтительного отношения к религиозным академическим ритуалам) при том, как мои коллеги подходят к таинству причастия без веры в Присущего, и разумеется, без предшествующей исповеди и отпущения грехов. С содроганием, невзирая на многолетнюю внерелигиозность, ощущал я ужас перед этим зрелищем святотатства.

Тем не менее полагаю, что способен определить, на каких основаниях зиждется сегодня моя «внерелигиозная религиозность», — ибо я твердо убежден, что религиозность существует в разных формах, и следовательно, ощущение сакральности, тяга к «главным вопросам» и

ожидание ответа на них, чувство единения с чем-то превосходящим человека свойственны и тем, кто не верует в личное и всерасполагающее божество. Но это, как явствует из Вашего письма, известно и Вам. Вы спрашиваете вот о чем: что есть обязывающего, вовлекающего и неотразимого в их формах этики?

Хочется начать издали. Некоторые этические проблемы стали для меня прозрачнее после того, как я продумал некоторые проблемы семантики — только не беспокойтесь из-за того, что говорят, будто выражаемся мы сложно; вероятно, те, кто говорит это, приучены думать чересчур просто по вине средств массовой информации с их «откровениями», по определению предсказуемыми. Пусть же привыкают мыслить более сложно, ибо не просты ни тайное, ни явное.

Суть лингвистической задачи сводилась к следующему: существуют ли «семантические универсалии», то есть элементарные понятия, общие для всего человеческого рода и находящие выражение на любом языке. Проблема эта не так уж легкоразрешима, если учесть, что во многих культурах отсутствуют понятия, кажущиеся нам очевидными: скажем, понятие субстанции, наделенной качествами (например, в выражении «яблоко — красное»), или понятие идентичности ( $a = a$ ). Однако в результате раздумий я заключил, что безусловно имеются понятия общие для всех культур и что все они относятся к положению нашего тела в пространстве.

Мы прямоходящие животные, поэтому нам затруднительно долго пребывать вниз головой и поэтому у всех нас общее представление о верхе и о низе, причем первое, как правило, предпочитается второму. Точно так же всем людям свойственно понятие о правом и левом, о покое или ходьбе, о стоянии или лежании, о ползании и прыгании, о бодрствовании и сне. Поскольку мы снабжены конечностями, всем нам известно, что такое ударять о прочный материал, вторгаться в мягкую или в жидкую среду, крошить, барабанить, колотить, пинать и даже, наверное, плясать. Этот список можно продолжать долго, в него войдут понятия, связанные с видением, слышанием, едой и питьем, заглатыванием и извержением. И безусловно, любому человеку присущи такие представления, как познание, память, желание, страх, грусть или облегчение, радость или печаль, а также представление о том, какими звуками отображаются все эти чувства. Далее (и тут мы уже вступаем в область права), всем знакомы универсальные концепции принуждения: всем нам нежелательно, когда препятствуют в процессах речи, зрения, слуха, сна, заглатывания либо извержения, не дают идти куда хочется; мы страдаем, если нас связывают или принуждают к изоляции, если нас избивают, ранят или убивают, подвергают пыткам физическим и психологическим, которые ограничивают или уничтожают способность соображать.

Учтите, что пока я выводил на сцену только некоего звероподобного и одинокого Адама, не ведающего, что есть сексуальное единение, радость диалога, любовь к детям, горе из-за утраты любимого человека; но даже и на этом этапе *нам* (если не ему/ей) эта семантика дает основания для этики; мы в первую очередь обязаны уважать права телесности другого существа, и, в частности, право говорить и право мыслить. Если бы все нам подобные уважали эти «телесные права», история не знала бы таких явлений, как избиение младенцев, скармливание христиан львам, Варфоломеевская ночь, сожжение еретиков, концлагеря, цензура, работа детей в шахте, массовые изнасилования в Боснии.

Но как, благодаря чему, даже обзаведясь инстинктивным набором универсальных представлений, это звероподобное выведенное мною создание, сотканное из изумления и свирепости, сумеет дотумкать до идеи, что оно желает делать что-то и не желает, чтобы с ним что-то делали иные, и уж тем более, что оно не должно делать другим то, чего не хочет, чтобы делали ему? Сумеет, благодаря тому, что, слава Богу, Эдем стремительно заселяется. Этический подход начинается, когда на сцену приходит Другой. Любой закон, как моральный, так и юридический, всегда регулирует межличностные отношения, включая отношения с тем Другим, кто насаждает этот Закон.

Вы тоже приписываете добродетельному неверующему представление о том, что Другой присутствует внутри нас. Но я имею в виду не расплывчатые сантименты, а твердый фундамент бытия. Как свидетельствуют самые внерелигиозные из гуманитарных наук, Другой, взгляд Другого определяет и формирует нас. Мы (как не в состоянии существовать без питания и без

сна) неспособны осознать, кто мы такие, без взгляда и ответа Других. Даже тот, кто убивает, насилует, крадет, изуверствует, — занимается этим в исключительные минуты, а в остальное время жизни выпрашивает у себе подобных одобрение, любовь, уважение, похвалу. И даже от тех, кого унижает, он хочет получить признание — в форме страха или подчинения. При отсутствии признания со стороны других новорожденный, брошенный в джунглях, не очеловечивается (если только, подобно Тарзану, не начнет искать себе Другого, пусть даже в лице обезьяны). Можно умереть или ополоуметь, живя в обществе, в котором все и каждый систематически нас не замечают и ведут себя так, будто нас на свете нету.

Почему же тогда существуют (или существовали) культуры, санкционирующие массовое убийство, каннибализм, унижение тела Другого? Просто по той причине, что в них круг Других сужен до пределов племени (или этноса) и «варвары» не воспринимаются как человеческие существа. Но и христианнейшие крестоносцы тоже не относились к неверным как к ближним, которых надо сердечно возлюбить. Дело в том, что признание роли других, необходимость уважать те же их потребности, которые мы считаем неукоснительными для себя, — результат тысячелетнего развития. Христианская заповедь любви тоже была провозглашена и со скрипом воспринята только тогда, когда времена созрели.

Но Вы спрашиваете так: хватает ли мне этого представления о чужой самооценности, чтобы обрести абсолютную опору, несокрушимый цоколь этического поведения? Достаточно было бы, если бы я ответил: но ведь и то, что Вы зовете «абсолютной опорой», не удержало многих верующих от прегрешений, при полном понимании, что они грешат. На этом можно было бы ответ и кончить; зло соблазнительно и для тех, кто обладает обоснованным и откровенным представлением о добре. Однако добавлю еще два случая из жизни, которые послужили мне к длительному размышлению.

Во-первых, мне вспоминается разговор с одним писателем, который считал себя католиком, пусть даже *sui generis*<sup>1</sup>, имя его я не привожу, так как цитирую частную беседу, а я по натуре не сикофант. Дело было в папство Иоанна XXIII; мой пожилой друг, бурно превознося добродетели понтифика, выразился так (с явной установкой на парадокс): «Папа Иоанн, конечно, атеист. Только не верующий в Бога может до такой степени любить себе подобных!» Как любые парадоксы, этот тоже содержал в себе кроху истины; не обсуждая атеистов (их психологическая картина для меня непонятна, с кантианской платформы я не представляю себе, как можно *не* верить в Бога и утверждать, что его существование *не* доказуется, и в то же время верить в не-существование Бога и утверждать, что оно-то доказуемо), я полагаю, что личности, никогда не переживавшие опыт трансценденции либо утратившие эту способность, могут придавать смысл своей жизни и своей смерти, могут успокаиваться одной любовью к другим и стремлением обеспечить для этих других жизнеспособную жизнь — в частности, и после того, как их самих уже не станет. Есть, разумеется, на свете и такие, кто не верует и все равно не заботится о придании смысла собственной смерти. Но есть и те, кто говорит, что верует, и при этом готов вырезать сердце у живого ребенка, только бы самому не умереть. О силе этики судят по поведению святых, а не тех неразумцев, *cujus dicitur venter est*<sup>2</sup>.

Перехожу ко второму анекдоту. Я был тогда шестнадцатилетним членом организации Молодых католиков и ввязался в словесную дуэль с более старшим знакомым, известным как «коммунист» (в значении, которое имел этот термин в кошмарные пятидесятые годы). Он меня раззадорил, и я выступил с решительным вопросом: какой смысл он, не веруя, находит в неизбежности смерти? Он ответил: «Я оставляю указание похоронить меня по гражданскому обряду. Я уже не смогу действовать, но покажу пример другим». Думаю, что и Вы тоже восхититесь этой глубочайшей верой в преемственность бытия и абсолютным чувством долга, одушевляющим этот ответ. Это то самое чувство, которое побуждало многих неверующих принимать гибель под пытками, лишь бы не предать товарищей, или заразиться чумой, лишь

<sup>1</sup> В своём роде (*лат.*).

<sup>2</sup> «Чей Бог — утроба» (*лат.*).

бы лечить зачумленных. Это же — то единственное чувство, которое побуждает философа философствовать, писателя писать: оставить послание в бутылке, чтобы то, во что мы верили или что казалось нам прекрасным, показалось бы достойным веры или любования и тем, кто придет после нас.

Достаточно ли крепко это чувство, чтобы выкристаллизовать не менее кристальную и негибкую, столь же твердокаменно-неуязвимую этику, какая имеется у тех, кто верует в мораль откровения, в посмертную жизнь души, в загробные премии и штрафы? Я постарался обосновать принципы внерелигиозной этики на чисто природном явлении (а для Вас это явление в качестве составляющей части природы есть детище Божественного промысла), какова наша телесность, и на убеждении, что инстинктивно всякий предполагает, что его душа (или нечто, выполняющее ее функцию) проявляется только благодаря соседству с окружающими. Из этого вытекает, что то, что я определил как «внерелигиозная этика», по сути — этичность природы, а от нее не станет отрешиваться даже и верующий человек. Природный инстинкт, дозревший до степени самоосознания, — разве это не опора, не удовлетворительная гарантия? Конечно, возможно возражение: достаточно ли этот инстинкт побуждает человека к добродетельности, «все равно же, — может сказать неверующий, — если я тайно содею зло, никто не догадается». Но учтите, пожалуйста, что неверующие, думая, что с Небес за ними никто не наблюдает, именно потому и убеждены, что никто с тех же Небес и не извинит их за безобразия. Если неверующий понимает, что сотворил зло, его одиночество беспредельно, его смерть безнадежна. Скорее всего, он постарается больше, чем верующий, искупить черноту содеянного публичным покаянием; он попросит помилования у окружающих. Это неверующий знает заранее, это он чувствует всеми фибрами души и понимает, что должен поэтому априори быть милостив к остальным. Не будь так, откуда бралось бы угрызение — чувство, столь свойственное неверующим?

Я не согласен с жестким противопоставлением тех, кто верует в потустороннего Бога, — тем, кто не верует ни в какое надличностное начало. Будем помнить, что именно «Этика» стоит в заглавии великого произведения Спинозы, которое начинается с определения Бога как причины себя самого. Однако это спинозовское божество, как мы знаем, не трансцендентно и не лично; и тем не менее из представления о великой и единой космической субстанции, в которую в один прекрасный день каждый из нас будет вынужден возвратиться, родится представление о терпимости и благожелательности, родится потому, что в равновесии и в гармоничности этой единой стихии мы все заинтересованы одинаково.

Мы все заинтересованы, поскольку подспудно считаем, что не могла эта субстанция никак не обогатиться и никак не переформироваться под воздействием того, что мы все совокупно наработали на протяжении тысячелетий человеческого рода. Поэтому я рискнул бы сказать (но это не метафизическая гипотеза, а только робкая побрякушка той надежде, которая не покидает человека никогда): в подобной перспективе брезжит идея чего-то вроде жизни после смерти. В последнее время стало известно, что в электронике цепочки сообщений способны пересылаться с одного физического носителя на другой, не утрачивая невоспроизводимых параметров, и похоже даже, что в то мгновение, когда, покинув один физический носитель, они еще не успели запечатлеться на втором, они существуют в виде чистого нематериального алгоритма.

Как знать, может, смерть равна не имплозии, не направленному внутрь взрыву, как прямо считать, а взрыву, направленному вовне, эксплозии, и не исключен отпечаток в каком-то там непостижимо отдаленном водовороте Вселенной нашего персонального софтвера (того, что некоторые именуют «душой»), того, что мы сформировали в течение нашей жизни? Там отпечатываются и наши воспоминания, и наши угрызения, и, следовательно, неизбежное страдание или же, наоборот, — чувство покоя благодаря исполненному долгу и благодаря любви.

Но Вы говорите, что вне примера Христа» слова Христова любая этика лишается самого непреложного, убедительного и модного глубинного оправдания. Но зачем Вы отнимаете у людей внерелигиозных право соотноситься с образом Христа-простиателя? Попробуйте, господин кардинал, в интересах диспута и ради того результата, который Вам интересен, допустить хотя бы на одну секунду гипотезу, что Господа нет; что человек явился на землю по ошибке нелепой случайности, и предан своей смертно; судьбе, и мало того — приговорен

осознавать свое положение, и по этой причине он — жалчайшая среди тварей (простите уж мне леопардиевскую интонацию). Этот человек, ища, откуда почерпнуть ему смелость в ожидании смерти, неизбежно делается тварью религиозной и попытается сконструировать повествования, содержащие объяснения и модели, создать какие-нибудь образы-примеры. И среди многих примеров, которые ему удастся измыслить, в ряду примеров блистательных, кошмарных, трогательно-утешительных — в некий миг полноты времен этот человек обретет религиозную, моральную и поэтическую силу создать фигуру Христа, то есть образ всеобщей любви, прощения врагам, историю жизни, обреченной холокосту во имя спасения остальных... Будь я инопланетянин, занесенный на Землю из далеких галактик, и окажись я пред лицом популяции, способной породить подобную модель, я преклонился бы, восхищенный толикой теогонической гениальности, и почел бы эту популяцию, мизерную и нечестивую, сотворившую столь много скверн, — все искупившей, лишь тем, что она оказалась способна желать и верить, что вымышленный ею образец — *истинен*.

Отбросьте эту гипотезу, предоставьте ее другим; но согласитесь, что если бы Христос был не более чем героем возвышенной легенды, сам тот факт, что подобная легенда могла быть замыслена и возлюблена бесперыми двуногими, знающими лишь, что они ничего не знают, — это было бы не меньшее чудо (не менее чудесная тайна), нежели тайна воплощения сына реального Бога. Эта природная земная тайна способна вечно волновать и облагораживать сердца тех, кто не верует.

Поэтому я думаю, что основные принципы природной этики (при одушевляющей ее глубинной религиозности) совпадают с принципами этики, основанной на вере в трансцендентное. Невозможно не признать, что природные этические принципы запечатлелись в нашем сердце на основании программы спасения. Если останутся (конечно же, они останутся) и у той и у этой этики взаимно неналожимые маргинальные области, — то же самое происходит и при соприкосновении между разными религиями. Самое главное, чтобы в религиозных разногласиях одерживали верх *любовь* и *благоразумие*.

## Осмысляя войну

В этой статье говорится о Войне, войне с большой буквы, не о холодной, а о «горячей», когда воюют при выраженном консенсусе наций, в той форме, которую война приняла в современном мире. Поскольку статья сдается в редакцию в дни, когда армии союзников вступают в Кувейт-Сити, не исключено, что, если не произойдет резких изменений, она будет читаться, когда все решат, что война в Персидском заливе 1991 года дала удовлетворительный результат, удовлетворительный в том смысле, что соответствующий целям, ради которых война затевалась. В подобном контексте речь о невозможности и бесполезности войны рискует показаться нелогичной, так как никто не согласится считать бесполезным или невозможным действие, позволившее достичь намеченных целей. Тем не менее нижепубликуемые рассуждения должны прозвучать независимо от того, как повернутся дела на войне. Они должны прозвучать тем паче, если война позволит достичь «положительного» результата и тем самым создастся иллюзорный вывод, что в каких-то случаях война — разумный выход из положения. Между тем этот вывод необходимо разгромить.

В начале войны звучали и печатались разнообразные призывы и упреки к представителям интеллигенции за то, что они «не заняли позицию» по отношению к совершившейся драме. Громогласное большинство говоривших и писавших также было интеллигенцией (в чисто ремесленном значении термина): возникает вопрос — из кого же состояло молчащее меньшинство, от которого требовали словесного реагирования?

Безусловно, зывали к тем, кто не поспешил отреагировать «правильно», не примкнул к «нужной» из двух сторон противостояния. И действительно, кто выражался, но в обратном смысле по отношению к ожиданиям другого, получал от того ярлык «интеллектуал-предателя», либо «империалистического поджигателя», либо «происламского пацифиста».

Каждая из двух партий внутри громогласного большинства поддерживалась группой средств массовой информации, и противники выставлялись в таком свете, что вполне заслуживали сыпавшихся обвинений. Сторонники необходимости/неизбежности конфликта

рисовались ненасытными ястребами допотопной формации, а пацифисты, как правило зашоренные лозунгами и словесными ритуалами прошедших лет, ежеминутно и поделом обвинялись, что ратуют за сдачу одних для ублажения воинственности других.

Парадоксы безоизгонятельного танца: те, кто был за конфликт, начинали разговор с расписывания жестокости войны, а те, кто высказывался против, для начала живописали зверства Саддама.

Несомненно, это были дебаты интеллектуалов и профессионалов, но это не было проявлением функции интеллигенции в обществе. Интеллигенция — категория очень зыбкая, что известно. Четче определима «функция интеллигенции». Эта функция состоит в том, чтобы критически выявлять то, что представляется посильным приближением к представлению об истине, — и осуществляться эта функция может кем угодно, даже аутсайдером, но когда этот аутсайдер мыслит о собственном существовании и суммирует эти мысли. И в равнин степени с функцией интеллигента не справляется профессионал от литературы, если он реагирует на события эмоционально и не ставит рефлексию во главу угла.

Поэтому, как говорил Витторини, интеллигент не должен дудеть музыку революции. Не из-за того, что стремится уйти от выбора (он, кстати, вполне имеет право выбирать, но как индивидуум), а потому что для действия требуется устранять полутона и двусмысленности (такова незаменимая роль командующих фигур во всех процессах), а интеллигентская функция состоит, наоборот, в том, чтобы выпячивать двусмысленности и освещать их. Первейший долг интеллигенции — критиковать собственных попутчиков («мыслить» означает беспрестанно каркать и накаркивать). Бывает, что интеллигент в обществе выбирает молчание из-за боязни предать тех, с кем себя идентифицирует, и в убеждении, что при всех их мимолетных и несущественных огрехах в конечном счете они взыскуют верховного блага для всех. Это трагическое решение, и история знает немало примеров того, как люди шли на смерть, искали смерти (за дело, в которое не верили) исключительно потому, что полагали, что нельзя на место верности подставлять истину. На самом же деле верность — это моральная категория, *veritas* — категория теоретическая.

Не то чтобы интеллектуальная функция была отделена от моральной. Решить осуществлять эту функцию — выбор моральный, точно так же, как моральным является решение хирурга взрезать живое мясо ради спасения чьей-то жизни. Но проводя сечение, хирург не должен расчувствоваться, в частности и тогда, когда вынужден, посмотрев, зашивать, потому что оперировать незачем. Интеллектуальная функция может привести человека к результатам эмоционально непереносимым, *поскольку многие проблемы решаются только выводом, что они решения не имеют*. Морален и последующий выбор: выразить ли свое заключение или замолчать его (может быть, в надежде, что заключение ошибочно). Такова трагичность положения тех, кто хотя бы на одну минуту берет на себя бремя «парламентера от человеческого рода».

Немало иронии вызывало, даже среди католиков, поведение Папы, который говорил, что воевать не надо, молился и предлагал запасные варианты, выглядевшие несостоятельно при сложности имевшейся картины. Как сторонники, так и противники Папы оправдывали его тем, что бедолага в сущности выполняет свою работу, поскольку говорить иначе ему не пристало. Это справедливо. Папа (с точки зрения его понимания истины) осуществил интеллектуальную функцию и сказал, что воевать не надо. Папа это и должен говорить: следуйте Евангелию, как духу, так и букве, подставляйте вторую щеку. Но как быть, если нас хотят убить? «Обходитесь как знаете, — *должен бы* отвечать Папа, — дело ваше», — и казуистика относительно обоснованной самозащиты пришла бы на помощь нашей слабой нервной системе, поскольку никто не обязан доводить добродетельность до геройства. Эта позиция настолько безупречна, что если (или когда) Папа присовокупляет нечто, могущее быть истолкованным в качестве практического совета, он отступает от своей интеллектуальной функции и входит в сферу политического выбора (а вот политический выбор должен был бы оставаться личным делом Папы).

При всем том, скажем сразу, интеллигенция в последние сорок пять лет отнюдь не замалчивала проблему войны. Интеллигенция высказывалась о войне с такой миссионерской убежденностью, что сумела коренным образом переделать взгляды всего мира на войну. Мало

когда столь же живо, как в данной ситуации, человечество представляло себе всю чудовищность и всю двусмысленность происходивших событий. Никто, кроме нескольких умалишенных, не видел иракский кризис в черно-белом свете. Тот факт, что война тем не менее разразилась, означает, что агитация интеллигенции не имела исчерпывающего успеха, была не до конца эффективна, не освоила достаточного исторического пространства. Досадные недоработки! Но факт остается фактом: нынешний мир видит войну другими глазами, не как она виделась в начале столетия, и, если сегодня кто-то заговорит о прелестях войны как единственной возможной гигиены мирового масштаба, он попадет не в историю литературы (как Д'Аннунцио), а в историю психиатрии. Война — явление того же порядка, что кровная месть или «око за око»: не то чтобы они уже не существовали на практике, однако общество в наши дни воспринимает эти явления отрицательно, в то время как раньше воспринимало хорошо.

Пока что мы рассматривали принятое ныне моральное и эмоциональное отношение к войне (хотя бывает, кстати, что мораль допускает нарушение запрета на убийство, а общественная чувствительность смиряется со свирепостями и смертями, если они выглядят гарантией общественного блага). Существует, однако, наиболее радикальный подход: рассмотрение войны с чисто формальной точки зрения, из расчета ее внутренней логичности, из анализа условий различных возможностей. Идя по этому пути, мы получим математический вывод, что воевать нельзя, нельзя по той причине, что существование общества, основанного на мгновенном информировании и на сверхскоростных перемещениях, на непрерывной межконтинентальной миграции и обладающего новаторской военной техникой, делает войну мероприятием нереалистическим и нерассудительным. Война противоречит тем самым соображениям, во имя которых она затевается.

В чем заключались в течение предшествующих столетий цели войн? Войны велись в надежде разбить противника таким манером, чтобы из его поражения вышла какая-то выгода, и велись войны так, чтобы наши намерения (действовать в определенном ключе и достичь определенных результатов) тактически или стратегически реализовывались неким способом, который опрокидывал бы замыслы противника. Нейтралитет остальных, только бы наша война им не создавала неудобств (и даже в некотором отношении помогала бы извлечь для себя пользу), выступал необходимым условием нашей свободы маневра. Даже клаузевицевская «абсолютная война»<sup>3</sup> мыслилась в рамках этой системы ограничений. Только в нашем веке возникло понятие мировой войны, захватывающей в свой круг даже общества без всякой истории, например, полинезийские племена.

После открытия атомной энергии, телевидения, воздушных перевозок и с рождением различных форм мультинационального капитализма выявились следующие предпосылки невозможности войны.

1. Атомное оружие убедило всех, что в случае ядерного конфликта не может быть победителей, а поражение потерпит вся планета. Сначала все осознали, что атомная война антиэкологична; на следующем этапе стало ясно, что любая антиэкологичная война по существу атомна; а затем укоренилось убеждение, что на самом деле антиэкологична любая война. Сбрасывая атомную бомбу (или загрязняя моря), ведется война не только с теми, кто держит нейтралитет, но с планетой в ее комплексе.

2. В современной войне нет фронта и двух противников. Скандальная история с американскими журналистами в Багдаде перекликается со скандальной же, но многократно более серьезной историей миллионов и миллионов проиракски настроенных мусульман, проживающих в странах антииракской коалиции. Обычно во время войн, если соплеменники врага оказывались в противоположной стране, их интернировали (или истребляли), а собственных соплеменников, оставшихся у врага и его поддерживавших, в дни победы вешали на виселице.

Сегодня война не может быть фронтальной по причине многонациональности

---

<sup>3</sup> Термин, введенный прусским генералом Карлом фон Клаузевицем (1780-1831), теоретиком стратегии, автором капитального труда «О войне».

капитализма. Что Ирак получил вооружение от западных производителей — не случайный недогляд. Это норма зрелого капитализма, открепившегося от отдельных государств. Американское правительство, обнаружив, что телекомпании играют на врага, мнит по старинке, будто это козни яйцеголовых коммунистоидов. Соответственно, и телевизионные компании льстят себе сходством с героической фигурой Хэмфри Богарта<sup>4</sup>, который в фильме, набрав телефон криминального босса, подносит трубку к печатному станку и под шум ротационных машин возглашает: «Это газета, старик, ей ты рот не заткнешь». Но основа индустрии новостей — прежде всего торговля новостями, лучше всего драматическими. Не то чтобы средства массовой информации не желали горнить военную музыку — просто они ближе не к горну, а к шарманке, которая исполняет то, что записано на фонетический валик. Так что в нынешние времена любому, кто затевает войну, обеспечена пятая колонна в лице собственной печати; а это никакому Клаузевицу не показалось бы приемлемым.

3. Если бы даже удалось вставить кляп всем СМИ, новые технологии коммуникаций предоставляют непрерывный поток информации в реальном времени, и ни один диктатор не в силах этот поток затормозить, потому что поток льется из тех первостепенных технологических инфраструктур, без которых он сам (диктатор) обходиться не способен. Этот поток информации работает, как секретные службы в традиционных войнах: извещает о неожиданностях. А разве реальна война, в которой заведомо исключена возможность захватить противника врасплох?

Войны издавна приводили к психологической смычке с врагами. Но безудержная информация способна на еще большее. Она ежесекундно служит рупором неприятеля (в то время как цель любой военной политики — заглушить пропаганду противника) и снижает энтузиазм граждан каждой воюющей стороны по отношению к их собственным правительствам. А Клаузевиц поучал, что условием победы является моральное единство нации. Во всех войнах, известных истории, народ, полагая свою войну праведной, горел желанием уничтожить врага. Теперь же безграничная информация не только расшатывает идеологию граждан, но и делает их уязвимыми пред видом страдания противника: смерть врага перестает быть далеким и неясным событием, а превращается в конкретное и совершенно непереносимое зрелище.

4. Ко всему сказанному добавим, что, если помните у Фуко, власть в нашу эпоху уже не монолитна и не односторонняя; власть стала диффузной, точечной и зиждется на постоянном слиянии и расторжении консенсусов. Нынешние войны не противопоставляют две чьи-то родины. Войны сталкивают интересы бесконечного количества разных властей. В этих играх какие-то отдельные центры власти зарабатывают новые очки, но всегда за счет других центров власти. Если на традиционной войне разжиревали фабриканты пушек и этот плюс мог оттеснить на второй план незначительные минусы (временные помехи коммерческому обмену), то война нового типа, разумеется, обогащает пушечных фабрикантов, но режет без ножа (и главное, в масштабах всего земного шара) индустрию авиатранспорта, развлечений, туризма, подрывает положение тех же самых СМИ (которым перестают заказывать коммерческую рекламу) и вообще наносит громадный ущерб всей индустрии необязательного — то есть костяку системы — от рынка недвижимости до автомобилей. При сообщении, что разразилась война, биржирезкоподскочили вверх, однако через месяц после этого биржи совершали такие же точно скачки при малейших намеках на возможность замирения. И я не вижу ни цинизма в первом случае, ни добродобия во втором. Биржа реагирует на колебания в игре между властями. В этой игре какие-то экономические власти состоят в конкуренции с другими, и логика конфликта экономических властей берет верх над логикой национальной державности. Производителям, работающим на государственного потребителя (производителям оружия), способствует обстановка напряженности, но производители благ для частного пользования нуждаются в климате счастья. Конфликт формулируется в терминах экономики.

5. По всем этим и еще по иным причинам война не напоминает больше, как напоминали

---

<sup>4</sup> Хэмфри Богарт (1899-1957) ~ популярный актер американского кино, воплощение жестких мужественных характеров.

войны прежних времен, формулу «серийного» искусственного интеллекта. Война ближе к формуле «параллельного» искусственного интеллекта.

«Серийный» искусственный разум, тот, например, который привлекается для создания машин, способных делать переводы, или для получения выводов из комплекса информационных данных, — этот разум получает от программиста такие инструкции, чтобы принимать, на основании конечного набора правил, последующие решения, каждое из которых зависит от решения, принятого на предыдущей фазе, по схеме дерева, посредством серии бинарных дизъюнкций. Старинная стратегия войны имела ту же конфигурацию: если неприятель двигал свои армии на восток, можно было предвидеть, что впоследствии он захочет повернуть на юг; в этом случае, следуя той же самой логике, я направлял свои войска на северо-восток и неожиданно перегораживал ему дорогу. Правила противника были в то же время и нашими правилами, и каждый мог принимать решения поступательно, по одному за раз, как в шахматной партии.

«Параллельный» искусственный разум, напротив, передоверяет отдельным ячейкам сети все решения, как им следует сложиться в окончательную конфигурацию, исходя из распределения «загрузок», которое оператор не способен ни рассчитать, ни предвидеть заранее, поскольку эта сеть порождает для себя правила, которые не были в нее заложены, и эта сеть сама себя модифицирует в поисках оптимального решения, и эта сеть не знает различия между правилами и данными. Правда, и систему подобного рода (называемую неоконнективной или системой нейтральных сетей) можно регулировать, сверяя полученный ответ с ожидаемым ответом и изменяя загрузки в зависимости от практики. Но для этого требуется: а) чтобы у оператора имелось время; б) чтобы не было двух операторов, находящихся в конкуренции и передвигающих загрузки во взаимно противоречивом режиме, и, наконец; в) чтобы отдельные ячейки сети вели себя и мыслили, как положено ячейкам, а не как положено операторам, то есть не принимали бы решений, основанных на анализе поведения операторов, а самое главное — не преследовали бы интересов, посторонних по отношению к логике сети.

Однако в ситуации разрознения властей каждая ячейка как раз и преследует именно личные интересы, которые не совпадают с интересами операторов и ничего не имеют общего с самодвижущими тенденциями той сети, куда ячейки входят. Следовательно, если (метафорический пример) войну представить себе в виде «нео-коннективной» системы, она будет развиваться и самобалансироваться независимо от желания обоих тяжущихся. Примечательно, что, объясняя устройство нейтральных сетей, Арно Пензиас (в книге «Как жить в мире High-Tech», Милан, Бомпиани, 1989, стр. 107-108) прибегает как раз к военной метафоре. Он пишет: «Известно, что отдельные нейроны становятся электроактивными („стреляют“) в результате стимуляции через каналы инпута (так называемые дендриты), тончайшим образом разветвленные. В мгновение „выстрела“ нейрон выпускает электрические сигналы по каналам аутпута (так называемым аксонам) <...> Поскольку „выстрел“ каждого нейрона зависит от активности множества других нейронов, не существует никакого простого способа рассчитать, что и когда должно произойти <...? В зависимости от конкретного расположения синаптических сцеплений (коннексий), любая стимуляция нейтральной сети из сотни нейронов даст, в качестве возможных равновесных результатов, тысячу миллиардов миллиардов миллиардов вариантов ( $10^{30}$ )».

Если война нео-коннективна, значит, в ее системе расчет и намерения главных действующих не имеют ценности. Из-за наращивания количества властей в этой игре загрузки распределяются самым непредвиденным образом. Конечно, может случиться и такое, что война окончится и при этом финальная конфигурация окажется выигрышной для одного из тяжущихся; однако в принципе, поскольку в подобной системе заведомо провален любой расчет, направленный на решение, — война всегда проигрышна для обеих сторон. В контексте нашей метафоры, лихорадочная деятельность операторов по руководству цепью, непрерывно получающей противонаправленные импульсы, приведет просто к замыканию всей сети. Вероятный исход войны в этом случае — коллапс. Старинная война напоминала шахматную партию, где каждый играющий пытался не только съесть как можно больше фигур противника, но и заманить противника (спекулируя на индивидуальном типе восприятия противником общих правил) в мат. А в современной войне, если представлять ее через шахматы, на доске не

черные и белые, а сплошь одноцветные фигуры, и игроки, воздействуя на одну и ту же сеть, едят что попадется. Самопожирание.

С другой стороны, утверждать, что в конфликте взяла верх некая сторона в некий момент, — значит отождествлять некий момент с финалом войны. Но финал мог бы иметь место, если бы война все еще и ныне, как желал того Клаузевиц, оставалась продолжением политики иными средствами (и кончалась бы при достижении равновесия, позволяющего вернуться к средствам политическим). Однако весь послевоенный период нашего века политика была и всегда останется продолжением (любыми средствами) расклада, сложившегося во Вторую мировую войну. Как бы ни проходила новая война, она, спровоцировав хаотичное перераспределение грузов, по существу не отражающее волю противников, завершится опасной политической, экономической и психологической нестабильностью с проекцией на грядущие десятилетия и не ведущей ни к чему иному, кроме как к «воинственной политике».

С другой стороны, а было ли раньше иначе? Запрещено ли считать, что Клаузевиц ошибался? Историография интерпретирует Ватерлоо как сшибку между двумя стратегиями (поскольку в конечном итоге был получен результат), в то время как Стендаль описал то же самое в терминах случайности. Представление, что традиционные войны вели к разумным результатам — к финальной равновесности, — основано на гегелевском предрассудке, будто история имеет направленность и будто результат рождается из борьбы тезисов и антитезисов. Но мы не располагаем научным доказательством (и логическим тоже), что ситуация в Средиземноморье после пунических войн, или в Европе после наполеоновских, должна расцениваться именно как равновесная. Может быть, напротив, ее следует видеть как неуравновешенность, не имевшую бы места, не пройди перед тем война. Да, человечество десятки тысяч лет прибегало к войне для устранения неуравновешенности — что этим доказывается? Те же сотни столетий оно прибегало для устранения психологических перекосов к алкоголю и иным отравляющим веществам.

На фоне сказанного хочется подумать о табу. Идею табу уже предлагал Моравиа: видя, что в течение многих столетий род человеческий шел и пришел к табуированию инцеста, поскольку убедился, что тесная эндогамия дает нежизнеспособные плоды, можно ожидать, что настанет предел, когда люди инстинктивно захотят табуировать войну. Ему резонно ответили: табу не «провозглашается» путем морального или интеллектуального декрета, табу формируется тысячелетним отстаиванием в темных глубинах коллективного подсознательного (по тем же причинам, по которым нейтральная сеть способна прийти сама собой к эквilibriumу). Да, все так, табу нельзя назначать, оно самообозначается. Однако возможно подогнать темпы вызревания. Чтобы догадаться, что совокупление с матерью или сестрой компрометирует генетический обмен, понадобились многие тысячи десятилетий — потому что немало лет было истрачено на то, чтобы человечество сформировало идею о причинно-следственной связи полового акта с размножением. А чтобы убедиться, что в войну авиакомпания прогорает, достаточно двух недель. Следовательно, вполне соответствует и интеллектуальному долгу и здравому смыслу разговор о табуировании, хотя никто и не властен ни объявить табу, ни обозначить даты его установления.

Интеллектуальный долг — утверждать невозможность войны. Даже если ей не видно никакой альтернативы. В крайнем случае всегда под рукой *замечательная* альтернатива войне, изобретенная в нашем веке, а именно «холодная война». Скопище непотребств, несправедливостей, нетерпимостей, конкретных преступлений, рассеянного террора — эта альтернатива (признаем вместе с историей) была весьма гуманным и в процентном отношении мягким по сравнению с войной вариантом, и в конце концов в ней определились даже победители и проигравшие. Однако не дело интеллигенции агитировать за холодные войны.

То, что некоторые восприняли в ключе: интеллигенция замалчивает войну, — вероятно, объяснялось нежеланием высказываться под горячую руку и через рупоры СМИ, по той очень простой причине, что СМИ — это часть войны, это ее инструмент и, следовательно, опасно использовать их как нейтральную территорию. Кроме всего прочего, у СМИ совершенно иные ритмы, не совпадающие с ритмами рефлексии. Интеллектуальная же функция осуществляется либо априори (относительно могущего произойти), либо апостериори (на основании

произошедшего). Очень редко речь идет о том, что как раз «сейчас» происходит. Таковы законы ритма: события стремительнее, события напористее, чем размышления об этих событиях. Поэтому барон Козимо Пьоваско ди Рондо<sup>5</sup> ушел жить на деревья; он не спасался от долга интеллигента понимать свою эпоху и участвовать в ней, он старался лучше понимать и созидать эту эпоху.

Однако даже при выборе ухода в тактическое молчание ситуация войны требует, в конечном итоге, чтобы об уходе в молчание было выкрикнуто во всю глотку. Чтобы выкрикнули, хотя всем ясно, что громоглашение о молчании нелогично, что декларация слабости способна быть проявлением силы и что никакая рефлексия не освобождает человека от его личного долга. А первейший долг его все-таки — заявить, что современная война обесценивает любую человеческую инициативу, и ни ее мнимая цель, ни мнимая чья-либо победа не способны переменить самовольную игру «загрузок», путающихся в собственных сетях. Ибо «загрузка» — тот же «груз» стихов Михелыитедера: «...грузом виснет, вися — зависит... Скользит груз вниз, чтоб последующим разом превзойти своей низостью низость прежнего раза... В грузном паденье... неподвластен разубеждению».

Так вот, подобное скольжение вниз мы не можем приветствовать, поскольку с точки зрения прав нашего рода на выживание это хуже, чем преступление: это — растрата.

## Вечный фашизм

В 1942 году, в возрасте 10 лет, я завоевал первое место на олимпиаде *Ludi Juveniles*, проводившейся для итальянских школьников-фашистов (то есть для всех итальянских школьников). Я изощрился с риторической виртуозностью развить тему «Должно ли нам умереть за славу Муссолини и за бессмертную славу Италии?» Я доказал, что должно умереть. Я был умный мальчик.

Потом в 1943 году мне открылся смысл слова «свобода». В конце этого очерка расскажу, как было дело. В ту минуту «свобода» еще не означало «освобождение».

В моем отрочестве было два таких года, когда вокруг были эсэсовцы, фашисты и партизаны, все палили друг в друга, я учился уворачиваться от выстрелов. Полезный навык.

В апреле 1945 года партизаны взяли Милан. Через два дня они захватили и наш городишко. Вот была радость. На центральной площади толпились горожане, пели, размахивали знаменами. Выкрикивалось имя Миммо, командира партизанского отряда. Миммо, в прошлом капитан карабинеров, перешел на сторону Бадольо<sup>6</sup> и в одном из первых сражений ему оторвало ногу. Он выскакал на балкон муниципалитета на костылях, бледный. Рукой сделал знак толпе, чтоб замолчали. Я наряду со всеми ждал торжественной речи, все мое детство прошло в атмосфере крупных исторических речей Муссолини, в школе мы учили наизусть самые проникновенные пассажи. Но была тишина. Миммо говорил хрипло, почти не было слышно: «Граждане, друзья. После многих испытаний... мы здесь. Вечная слава павшим». Все. Он повернулся и ушел. Толпа вопила, партизаны потрясали оружием, палили в воздух. Мы, мальчишки, кинулись подбирать гильзы, ценные коллекционные экспонаты. В тот день я осознал, что свобода слова означает и свободу от риторики.

Через несколько дней появились первые американские солдаты. Это были негры. Мой первый знакомый янки, Джозеф, был чернокож. Он открыл мне чудесный мир Дика Трейси и Лила Эбнера. Его книжки комиксов были разноцветные и замечательно пахли.

Одного из офицеров (его звали не то майор Мадди, не то капитан Мадди) родители двух моих соучениц пригласили в гости к себе на виллу. В саду расположились с вязаньем наши благородные дамы, болтая на приблизительном французском. Капитан Мадди был неплохо образован и на французском тоже как-то разговаривал. Так сложилось мое первое впечатление

<sup>5</sup> Герой романа Итало Кальвино (1923-1985) «Барон на дереве» (1957)

<sup>6</sup> Пьетро Бадольо (1871-1956) — один из организаторов свержения Муссолини (1943), премьер-министр Италии в период ее войны с фашистской Германией (1943-1944).

об освободителях-американцах, после всех наших бледноликих и чернорубашечных: интеллигентный негр в желто-зеленом мундире, произносящий: «*Où, merci beaucoup Madame, moi aussi j'aime le champagne...*». К сожалению, шампанского на самом деле не было, но от капитана Мадди происходила моя первая в жизни жвачка и жевал я ее много дней. На ночь я клал ее в стакан с водой.

В мае нам сказали, что война окончилась. Мир показался мне великой странностью. Меня учили, что перманентная война является нормальным условием жизни для молодого итальянца. В последующие месяцы открылось также, что Соппротивление — не наше деревенское, а общеевропейское явление. Я научился новым волнующим словам, таким как *reseau, maquis, armee secrete, Rote Kapelle*, варшавское гетто. Я увидел первые снимки геноцида евреев — того, что называется Холокост, — и усвоил смысл явления раньше, чем узнал термин. Я понял, от чего именно нас освободили.

В Италии кое-кто сегодня задается вопросом, сыграло ли Соппротивление реальную военную роль. Моему поколению этот вопрос несуществен. Мы сразу почувствовали моральную и психологическую роль Соппротивления. Вот что давало нам гордость: знать, что мы, население Европы, не дожидались освобождения сложа руки. Думаю, что и для молодых американцев, которые платили кровью за нашу свободу, было тоже небезразлично знать, что за линией фронта среди населения Европы кто-то платит по тому же счету.

В Италии звучат высказывания, что Соппротивление в Европе — вымысел коммунистов. Нельзя спорить, коммунисты действительно употребили Соппротивление как личную собственность, пользуясь тем, что они сыграли в Соппротивлении центральную роль. Но я помню партизан в шейных платках самых разных расцветок.

Прилипнув к радиоприемнику, я проводил ночи — ставни задривались, комендантский час, затемнение, ореол вокруг радио был единственным источником света — и слушал сообщения, которые «Радио Лондон» передавало партизанам. Послания туманные и в то же время поэтические («Солнце восходит снова», «Розы в цвету»). Большею частью это была «информация для Франки». Откуда-то я шепотом узнал, что Франки — командир самого крупного подполья Северной Италии и человек легендарного мужества. Франки был моим героем. Этот Франки (настоящее имя — Эдгардо Соньо) был монархист, настолько антикоммунистической ориентации, что в послевоенное время примкнул к правоэкстремистской группировке и попал под суд по подозрению в подготовке реакционного антигосударственного переворота. Что это меняет? Он остается ориентиром моих детских лет. Освобождение — одно для людей самых разных расцветок.

Сейчас у нас принято говорить, что война за освобождение Италии привела к трагическому расколу нации и что необходимо национальное примирение. Воспоминание об ужасном времени должно быть вытеснено (*refoulee, verdrangt*).

Но вытеснение — источник неврозов.

Примириться, проявить понимание, уважить тех, кто от чистого сердца вел свою войну. Простить — это не значит забыть. Допускаю, что Эйхман<sup>7</sup> был чистосердечно предан своей миссии. Но мы не говорим Эйхману: «Валяйте, продолжайте в том же духе». Мы обязаны помнить, что же это было, и торжественно заявить, что снова они этого делать не должны.

Но кто такие «они»?

Если до сегодняшних пор подразумевать под «они» тоталитарные правительства, распорядившиеся Европой перед Второй мировой войной, можно спать спокойно: они не возродятся в прежнем своем виде среди новых исторических декораций. Итальянский фашизм (Муссолини) складывался из культа харизматического вождя, из корпоративности, из утопической идеи о судьбоносности Рима, из империалистической воли к завоеванию новых земель, из насажденного национализма, из выстраивания страны в колонну по два, одевания всех в черные рубашки, из отрицания парламентской демократии, из антисемитизма. Так вот, я вполне верю, что нынешний Национальный альянс, родившийся из останков Итальянского

<sup>7</sup> Карл-Адольф Эйхман (1906-1962) — немецко-фашистский преступник, глава подотдела по уничтожению евреев Имперского управления безопасности. Предан суду в Иерусалиме в 1960 г. и казнен.

социального движения, — это партия хотя и безусловно правая, но не связанная с нашим прежним фашизмом.

И хотя я очень обеспокоен неофашистскими движениями, возникающими повсеместно по Европе и, в частности, в России, я — по той же причине — не думаю, что именно немецкий фашизм в своей первоначальной форме может снова явиться в качестве идеологии, охватывающей народы.

В то же время, хотя политические режимы свергаются, идеологии рушатся под напором критики, дезавуируются, за всеми режимами и их идеологиями всегда стоят: мировоззрение и мироощущение, сумма культурных привычек, туманность темных инстинктов, полуосознанные импульсы.

О чем это говорит? Существует ли и в наше время призрак, бродящий по Европе, не говоря об остальных частях света?

Ионеско изрек: «Важны только слова, все остальное — болтовня». Лингвистические привычки часто представляют собою первостепенные симптомы невыказуемых чувств.

Поэтому позвольте задать вопрос: с какой стати не только итальянское Сопротивление, но и вся Вторая мировая война во всем мире формулируется как битва против *фашизма*?

Фашизм вообще-то должен ассоциироваться с Италией.

Но перечитайте Хемингуэя «По ком звонит колокол»: Роберт Джордан именует своих врагов фашистами, хотя они испанские фалангисты. Дадим слово Ф. Д. Рузвельту: «Победа американского народа и его союзников будет победою над фашизмом и над деспотическим тупиком, который он олицетворяет» (23 сентября 1944).

Во времена маккартизма любили клеймить американцев, участвовавших в гражданской войне в Испании, «недозрелыми антифашистами» (имелось в виду, что выступить против Гитлера в сороковые годы было моральным долгом настоящего американца, а вот выступать против Франко чересчур рано, в тридцатые, — это подозрительный знак).

Американские радикалы обзывали полицейских, не разделявших их вкусов по части курева, «фашистскими свиньями». Почему не паршивыми кагулями, не гадами фалангистами, не суками усташами, не погаными квислингами, не Анте Павеличами и не нацистами?

Дело в том, что «Майн Кампф» — манифест *цельной* политической программы. Немецкий фашизм (нацизм) включал в себя расовую и арийскую теории, четкое представление об *entartete Kunst* — коррумпированном искусстве, философию державности и культ сверхчеловека. Он имел четкую антихристианскую и неоязыческую окраску. Так же точно сталинский диамат был четко материалистичен и атеистичен. Режимы, подчиняющие все личностные проявления государству и государственной идеологии, мы зовем тоталитарными; немецкий фашизм и сталинизм — оба тоталитарные режимы.

Итальянский же фашизм, безусловно, представлял собой диктаторский режим, но он не был вполне тоталитарен, и не благодаря какой-то особой своей мягкости, а из-за недостаточности философской базы. В противоположность общепринятому представлению, у итальянского фашизма не имелось собственной философии. Статья о фашизме, подписанная «Муссолини» в Итальянской энциклопедии Треккани, была если не создана, то вдохновлена философом Джованни Джентиле, и отражалось в ней позднегегелианское представление об «этическом и абсолютном государстве». Однако при правлении Муссолини такое государство реализовано не было. У Муссолини не было никакой философии: у него была только риторика. Начал он с воинствующего безбожия, затем подписал конкордат с Церковью и сдружился с епископами, освящавшими фашистские знамена. В первые его, еще антиклерикальные времена, если верить легенде, он предлагал Господу разразить его на месте, дабы проверить истинность Господня бытия. По всей видимости, тот чем-то отвлекся и просьбу не удовлетворил. На следующем этапе во всех своих выступлениях Муссолини ссылался на имя Божие и смело именовал самого себя «рукой Провидения».

Итальянский фашизм, бесспорно, был первой правой диктатурой, овладевшей целой европейской страной, и последующие аналогичные движения поэтому видели для себя общий архетип в муссолиниевском режиме. Итальянский фашизм первым из всех разработал военное священнодействие, создал фольклор и установил моду на одежду, причем с гораздо большим успехом за границей, чем любые Бенеттоны, Армани и Версаче. Только следом за итальянским

фашизмом — в тридцатые годы — фашистские движения появились в Англии (Мосли), Литве, Эстонии, Латвии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Югославии, Испании, Португалии, Норвегии и даже в Южной Америке и, разумеется, в Германии. И именно итальянский фашизм создал у многих либеральных европейских лидеров убеждение, будто эта власть проводит любопытные социальные реформы и способна составить умеренно-революционную альтернативу коммунистической угрозе.

И все же это единственное основание — исторический приоритет — не кажется мне достаточным для того, чтобы слово «фашизм» превратилось в синекдоху, в определение типа *pars pro toto*<sup>8</sup> для самых разных тоталитарных движений. Никак нельзя сказать, чтобы итальянский фашизм содержал в себе все элементы последующих тоталитаризмов, некую квинтэссенцию. Наоборот, в фашизме и эссенции-то, естества ясного не содержалось, и являл он собой тоталитаризм размытый, на языке логики — fuzzy.

Итальянский фашизм не был монолитной идеологией, а был коллажем из разносортных политических и философских идей, муравейником противоречий. Ну можно ли себе представить тоталитарный режим, в котором сосуществуют монархия и революция, Королевская гвардия и персональная милиция Муссолини, в котором Церковь занимает главенствующее положение, но школа расцерковлена и построена на пропаганде насилия, где уживаются абсолютный контроль государства со свободным рынком?

В Италии фашистская партия родилась, превознося свой новый революционный порядок, но финансировалась самыми консервативными землевладельцами, которые надеялись на контрреволюцию. Итальянский фашизм в своем зародыше был республиканским, но затем двадцать лет подряд прокламировал верность королевской фамилии, давая возможность дуче шагать по жизни под ручку с королем, которому предлагался даже титул императора. Когда же в 1943 году король уволил Муссолини с должности, партия через два месяца возродилась с помощью немцев под знаменем «социальной» республики, под уже знакомую музыку революции и с почти что якобинской аранжировкой.

Существовала только одна архитектура немецкого фашизма и только одно немецко-фашистское искусство. Если архитектором немецкого фашизма стал бы Альберт Шпеер, не осталось бы места Мису ван дер Роэ. Так же точно при Сталине: коли был бы прав Ламарк, не осталось бы места Дарвину. Напротив, в Италии архитекторы, безусловно, мыслили себя как фашисты, однако наряду с псевдоколизеями проектировали и новаторские здания, вдохновленные модерн-рационализмом Гропиуса.

Итальянский фашизм не знал своего Жданова. В Италии существовали две важные художественные премии. Во-первых, премия Кремона — под эгидой невежественного и фанатичного фашиста Фариначчи, который ратовал за пропагандистское искусство (помню станковую живопись: «У радиоприемника. Слушая выступление Дуче» и «Ментальные состояния, навеваемые фашизмом»). Во-вторых, премия Бергамо, которую спонсировал образованный и в разумных пределах толерантный фашист Боттаи. Он выступал сторонником искусства для искусства и за новаторские опыты авангардистского искусства, те самые, которые в Германии преследовались как упаднические и втайне коммунистические, так как они отличались от нибелунгового кича, а разрешался только он, и больше ничего.

В смысле поэзии, нашей национальной гордостью считался Д'Аннунцио, денди, которого в Германии или в России мигом поставили бы к стенке. У нас ему присвоили титул Вещего певца режима за национализм и превознесение геройства (с примесью изрядной порции французского декадентства).

Футуризм. Образец самого отъявленного «упадочного искусства», наряду с экспрессионизмом, кубизмом, сюрреализмом. Однако первые итальянские футуристы были настроены националистски, с эстетических позиций отстаивали участие Италии в Первой мировой войне, упивались быстротой, насилием и риском и, в определенных отношениях, подходили близко к фашистскому культу молодости. Когда итальянский фашизм начал равняться на Римскую империю и на новооткрытые народные корни, Маринетти

<sup>8</sup> Часть вместо целого (лат.).

(провозглашавший, что автомобиль прекраснее Ники Самофракийской, и покушавшийся «укокошить лунный свет») был проведен в члены Национальной Академии, которая вообще-то относилась к лунному свету с пиететом.

Многие партизаны, представители левой интеллигенции вызрели в ячейках ГУФ (фашистской организации университетских студентов), а ведь ГУФ замышлялась как колыбель новой фашистской культуры. Но эти ячейки составили собой некий интеллектуальный котел, где кипели идеи и никогда не было настоящего идеологического контроля; не оттого, что партийцы отличались особой толерантностью, а потому, что они, как правило, не обладали интеллектуальным уровнем, чтоб контролировать студентов.

В течение всего того двадцатилетия поэзия «герметиков» представляла собой противовес помпезному стилю истеблишмента. Герметикам было позволено выражать литературный протест, не выходя из башни из слоновой кости. Настроение герметиков являло полную противоположность фашистскому культу оптимизма и героизма. Фашистский истеблишмент терпел это явное, хотя и социально неуловимое, противоречие, потому что не обращал достаточного внимания на столь туманные речи.

Это не означает, что итальянскому фашизму была свойственна терпимость. Грамши продержали в тюрьме до самой смерти, Маттеотти уничтожили, братьев Росселли уничтожили, свободу печати подавили, профсоюзы разогнали, политических диссидентов выслали на отдаленные острова, законодательная власть превратилась в чистую фикцию, а исполнительная (которая контролировала и судопроизводство, и массовые коммуникации) самопроизвольно издавала законы, среди которых, в частности, был закон о чистоте расы — формальная поддержка Италией геноцида евреев.

Неодноплановая картина, описанная мною, свидетельствует не о толерантности, а о великой расхлябанности, как политической, так и идеологической. Причем это была «упорядоченная расхлябанность», в беспорядке имела своя система. Пусть фашизм не имел философского стержня, но с точки зрения эмоциональной он был прочно ориентирован на определенные архетипы.

Так мы приблизились ко второй части разговора. Немецкий нацизм был уникален. Мы не можем назвать нацизмом гиперкатолический фалангизм Франко, потому что нацизм отличался глубинным язычеством, политеизмом и антихристианством, или это был не нацизм. А вот с термином «фашизм», наоборот, можно играть на многие лады. Название не переменится. С понятием «фашизм» происходит то же, что, по Витгенштейну, произошло с понятием «игра». Игра может быть соревновательной или же наоборот; может осуществляться одним человеком или же несколькими; может требовать умения и навыков или не требовать ничего; может вестись на деньги, а может и нет. Игры — это серия различных видов деятельности, семейное сходство между которыми очень относительно.

1 2 3 4  
abc bcd cde def

Предположим, перед нами набор политических группировок. Первая группировка обладает характеристиками *abc*, вторая — характеристиками *b c d* и так далее. 2 похоже на 1, поскольку у них имеются два общих аспекта, 3 похоже на 2, 4 похоже на 3 по той же самой причине, 3 похоже даже на 1 (у них есть общий элемент *c*). Но вот что забавно. 4 имеет нечто общее с 3 и 2, но абсолютно ничего общего с 1. Тем не менее, благодаря плавности перехода с 1 на 4» создается иллюзия родства между 4 и 1.

Термин «фашизм» употребляется повсеместно, потому что даже если удалить из итальянского фашистского режима один или несколько аспектов, он все равно продолжает узнаваться как фашистский. Устранив из итальянского фашизма империализм, получаем Франко или Салазара. Устраняем колониализм — выходит балканский фашизм. Прибавляем к итальянскому фашизму радикальный антикапитализм (чем никогда не грешил Муссолини), и получается Эзра Паунд. Прибавляем помешательство на кельтской мифологии и культуре Грааля (абсолютно чуждое итальянскому фашизму), и перед нами один из наиболее уважаемых фашистских гуру — Юлиус Эвола.

Чтобы преодолеть этот разброд, по-моему, следует вычленить список типических характеристик Вечного Фашизма (ур-фашизма); вообще-то достаточно наличия даже одной из них, чтобы начинала конденсироваться фашистская туманность.

1. Первой характеристикой ур-фашизма является культ *традиции*. Традиционализм старше фашизма. Он выступает доминантой контрреволюционной католической мысли после Французской революции, но зародился он в поздний эллинистический период как реакция на рационализм классической Греции.

В средиземноморском бассейне народы разных религий (все они с равной толерантностью были допускаемы в римский Пантеон) искали откровения, явленного на заре истории человечества. Это откровение испокон веков таилось под покровом языков, чей смысл утратился. Откровение было вверено египетским иероглифам, кельтским рунам, а также священным, доселе не проясненным памятникам азиатских религий.

Эта новая культура неизбежно оказывалась *синкретичной*. Синкретизм — это не просто, как указывают словари, сочетание разноформных верований и практик. Здесь основа сочетаемости — прежде всего *пренебрежение к противоречиям*. Исходя из подобной логики, все первородные откровения содержат зародыш истины, а если они разноречивы или вообще несовместимы, это не имеет значения, потому что аллегорически все равно они все восходят к некоей исконной истине.

Из этого вытекает, что *нет места развитию знания*. Истина уже провозглашена раз и навсегда; остается только истолковывать ее темные словеса. Достаточно посмотреть «обоймы» любых фашистских культур: в них входят только мыслители-традиционалисты. Немецко-фашистский гнозис питался из традиционалистских, синкретистских, оккультных источников. Наиважнейший теоретический источник новых итальянских правых, Юлиус Эвола, смешивает Грааль с «Протоколами Сионских мудрецов», алхимию со Священной Римской империей. Сам тот факт, что в целях обогащения кругозора часть итальянских правых сейчас расширила обойму, включив в нее Де Местра<sup>9</sup>, Генона<sup>10</sup> и Грамши, является блистательной демонстрацией синкретизма.

Поройтесь в американском книжном магазине на стеллажах под табличкой «New Age». Вы увидите в куче мистической белиберды даже и св. Августина, который, насколько мне известно, фашистом не был.

Вот сам по себе принцип валить в кучу Августина и Стоунхендж — это и есть симптом ур-фашизма.

2. Традиционализм неизбежно ведет к *неприятию модернизма*. Как итальянские фашисты, так и немецкие нацисты вроде бы обожали технику, в то время как традиционалистские мыслители обычно технику клеймили, видя в ней отрицание традиционных духовных ценностей. Но, по сути дела, нацизм наслаждался лишь внешним аспектом своей индустриализации. В глубине его идеологии главенствовала теория Blut und Boden — «Крови и почвы». Отрицание современного мира проводилось под соусом отрицания капиталистической современности. Это, по существу, отрицание духа 1789 года (а также, разумеется, 1776-го) — духа Просвещения. Век Рационализма видится как начало современного разврата. Поэтому ур-фашизм может быть определен как *иррационализм*.

3. Иррационализм крепко связан с культом *действия ради действия*. Действование прекрасно само по себе и поэтому осуществляется *вне* и *без* рефлексии. Думание — немужественное дело. Культура видится с подозрением, будучи потенциальной носительницей критического отношения. Тут все: и высказывание Геббельса «Когда я слышу слово „культура“, я хватаюсь за пистолет», и милые общие места насчет интеллектуальных размазней, яйцеголовых интеллигентов, радикал-снобизма и университетов — рассадников

<sup>9</sup> Имеется в виду франц. писатель Жозеф де Местр (1753-1821), автор сочинения «О Папе» (1819) — одного из ключевых текстов католицизма.

<sup>10</sup> Генон, Рене (1886-1951) — франц. литератор-мистик, автор компилятивных сочинений («Кризис современного мира», 1921 и др.).

коммунистической заразы. *Подозрительность по отношению к интеллектуальному миру* всегда сигнализирует присутствие ур-фашизма. Официальные фашистские мыслители в основном занимались тем, что обвиняли современную им культуру и либеральную интеллигенцию в отходе от вековых ценностей.

4. Никакая форма синкретизма не может вынести критики. Критический подход оперирует дистинкциями, дистинкции же являются атрибутом современности. В современной культуре научное сообщество уважает несогласие, как основу развития науки. В глазах ур-фашизма *несогласие есть предательство*.

5. Несогласие — это еще и знак инакости. Ур-фашизм растет и ищет консенсусов, эксплуатируя прирожденную боязнь инородного. Первейшие лозунги фашистоидного или пре-фашистоидного движения направлены против инородцев. Ур-фашизм, таким образом, по определению замешан на *расизме*.

6. Ур-фашизм рождается из индивидуальной или социальной фрустрации. Поэтому все исторические фашизмы опирались на *фрустрированные средние классы*, пострадавшие от какого-либо экономического либо политического кризиса и испытывающие страх перед угрозой со стороны раздраженных низов. В наше время, когда прежние «пролетарии» превращаются в мелкую буржуазию, а люмпен из политической жизни самоустраняется, фашизм найдет в этом новом большинстве превосходную аудиторию.

7. Тем, кто вообще социально обездолен, ур-фашизм говорит, что единственным залогом их привилегий является факт рождения в определенной стране. Так выковывается *национализм*. К тому же единственное, что может сплотить нацию, — это враги. Поэтому в основе ур-фашистской психологии заложена одержимость *идеей заговора*, по возможности международного. Сочлены должны ощущать себя осажденными. Лучший способ сосредоточить аудиторию на заговоре — использовать пружины ксенофобии. Однако годится и заговор внутренний, для этого хорошо подходят евреи, потому что они одновременно как бы внутри и как бы вне. Последний американский образчик помешательства на заговоре — книга «Новый мировой порядок» Пэта Робертсона.

8. Сочлены должны чувствовать себя оскорбленными из-за того, что враги выставляют напоказ богатство, бравируют силой. Когда я был маленьким, мне внушали, что англичане — «нация пятиразового питания». Англичане питаются интенсивнее, чем бедные, но честные итальянцы. Богаты еще евреи, к тому же они помогают своим, имеют тайную сеть взаимопомощи. Это с одной стороны; в то же время сочлены убеждены, что сумеют одолеть любого врага. Так, благодаря колебанию риторических струн, *враги рисуются в одно и то же время как и чересчур сильные, и чересчур слабые*. По этой причине фашизмы обречены всегда проигрывать войны: они не в состоянии объективно оценивать боеспособность противника.

9. Для ур-фашизма нет борьбы за жизнь, а есть жизнь ради борьбы. Раз так, *пацифизм однозначен братанию с врагом*. Пацифизм предосудителен, поскольку *жизнь есть вечная борьба*. В то же время имеется и комплекс Страшного Суда. Поскольку враг должен быть — и будет — уничтожен, значит, состоится последний бой, в результате которого данное движение приобретет полный контроль над миром. В свете подобного «тотального решения» предполагается наступление эры всеобщего мира, Золотого века.

Однако это противодействует тезису о перманентной войне, и еще ни одному фашистскому лидеру не удалось разрешить образующееся противоречие.

10. Для всех реакционных идеологий типичен элитаризм, в силу его глубинной аристократичности. В ходе истории все аристократические и милитаристские элитаризмы держались на *презрении к слабому*.

Ур-фашизм исповедует *популистский* элитаризм. Рядовые граждане составляют собой наилучший народ на свете. Партия составляется из наилучших рядовых граждан. Рядовой гражданин может (либо обязан) сделаться членом партии.

Однако не может быть патрициев без плебеев. Вождь, который знает, что получил власть не через делегирование, а захватил силой, понимает также, что сила его основывается на *слабости* массы, и эта масса слаба настолько, чтобы нуждаться в Погонщике и заслуживать его.

Поэтому в таких обществах, организованных иерархически (по милитаристской модели),

каждый отдельный вождь презирает, с одной стороны, вышестоящих, а с другой — подчиненных.

Тем самым укрепляется *массовый элитаризм*.

11. Всякого и каждого воспитывают, чтобы он стал героем. В мифах герой воплощает собой редкое, экстраординарное существо; однако в идеологии ур-фашизма героизм — это норма. Культ героизма непосредственно связан с *культурой смерти*. Не случайно девизом фалангистов было: *Viva la muerte!* Нормальным людям говорят, что смерть огорчительна, но надо будет встретиться с ней с достоинством. Верующим людям говорят, что смерть есть страдательный метод достижения сверхъестественного блаженства. Герой же ур-фашизма алчет смерти, предуказанной ему в качестве наилучшей компенсации за героическую жизнь. Герою ур-фашизма умереть нестерпимо. В героическом нетерпении, заметим в скобках, ему гораздо чаще случается умерщвлять других.

12. Поскольку как перманентная война, так и героизм — довольно трудные игры, ур-фашизм переносит свое стремление к власти на половую сферу. На этом основан культ мужественности (то есть пренебрежение к женщине и беспощадное преследование любых неконформистских сексуальных привычек: от целомудрия до гомосексуализма). Поскольку и пол — это довольно трудная игра, герой ур-фашизма играет с пистолетом, то есть эрзацем фаллоса. Постоянные военные игры имеют своей подоплекой неизбежную *invidia penis*.

13. Ур-фашизм строится на качественном (квалитативном) популизме. В условиях демократии граждане пользуются правами личности; совокупность граждан осуществляет свои политические права только при наличии количественного (квантитативного) основания: исполняются решения большинства. В глазах ур-фашизма индивидуум прав личности не имеет, а Народ предстает как качество, как монолитное единство, выражающее совокупную волю. Поскольку никакое количество человеческих существ на самом деле не может иметь совокупную волю, Вождь претендует на то, чтобы представлять от всех. Утратив право делегировать, рядовые граждане не действуют, они только призываются — часть за целое, *pars pro toto* — играть роль Народа. Народ, таким образом, бытует как феномен исключительно театральный.

За примером *качественного популизма* необязательно обращаться к Нюрнбергскому стадиону или римской переполненной площади перед балконом Муссолини. В нашем близком будущем перспектива качественного популизма — это телевидение или электронная сеть «Интернет», которые способны представить эмоциональную реакцию отобранной группы граждан как «суждение народа».

Крепко стоя на своем квалитативном популизме, ур-фашизм *ополчается против «прогнивших парламентских демократий»*. Первое, что заявил Муссолини в своей речи в итальянском парламенте, было: «Хотелось бы мне превратить эту глухую, серую залу в спортзал для моих ребяток». Он, конечно же, быстро нашел гораздо лучшее пристанище для «своих ребяток», но парламент тем не менее разогнал.

Всякий раз, когда политик ставит под вопрос легитимность парламента, поскольку тот якобы уже не отражает «суждение народа», явственно унюхивается запах Вечного Фашизма.

14. *Ур-фашизм говорит на Новоязе*. Новояз был изобретен Оруэллом в романе «1984» как официальный язык Ангсоца, Английского социализма, но элементы ур-фашизма свойственны самым различным диктатурам. И нацистские, и фашистские учебники отличались бедной лексикой и примитивным синтаксисом, желая максимально ограничить для школьника набор инструментов сложного критического мышления. Но мы должны уметь вычленять и другие формы Новояза, даже когда они имеют невинный вид популярного телевизионного ток-шоу.

Перечислив возможные архетипы ур-фашизма, закончу вот чем. Утром 27 июля 1943 года мне было сказано, что по радио объявили, что фашизм пал и Муссолини арестован и чтобы я пошел купил газету. Я отправился к киоску и увидел, что там полно газет, но у них незнакомые названия. Затем я прочитал заголовки передовиц и осознал, что в разных газетах написаны разные вещи. Тогда я купил одну из них, наудачу, развернул и прочитал на первой странице декларацию, подписанную пятью или шестью политическими партиями, среди которых были Христианская демократическая, Коммунистическая партия, Социалистическая партия, Партия

действия, Либеральная партия. До этой минуты я полагал, что на страну полагается иметь по одной партии, в частности в Италии партия называется Национальной Фашистской. И вот я обнаружил, что в моей стране одновременно имеют место несколько партий. И не только. Так как я был смышленным подростком, я сказал себе, что никак не возможно, чтобы все эти партии учредились вот так, за одну ночь. Значит, подумал я, они существовали прежде на подпольном положении.

Декларация возвещала о конце фашистской диктатуры и восстановлении в стране свобод: свободы слова, печати, политических объединений. Эти слова — «диктатура», «свобода» — о Господи, впервые за всю жизнь я их прочел. Благодаря этим словам я переродился в свободного западного человека.

Мы должны всегда иметь в виду, что смысл этих слов не должен снова забыться. Ур-фашизм до сих пор около нас, иногда он ходит в штатском. Было бы так удобно для всех нас, если бы кто-нибудь вылез на мировую арену и сказал: «Хочу снова открыть Освенцим, хочу, чтобы черные рубашки снова замаршировали на парадах на итальянских площадях». Увы, в жизни так хорошо не бывает! Ур-фашизм может представлять в самых невинных видах и формах. Наш долг — выявлять его сущность и указывать на новые его формы, каждый день, в любой точке земного шара. Передам опять слово Рузвельту. «Решусь сказать, что, если бы американская демократия прекратила развиваться как живая сила, которая старается днем и ночью, мирными средствами, совершенствовать условия существования граждан нашей страны, влияние фашизма у нас бы безусловно возросло» (4 ноября 1938). Свобода и Освобождение — наша работа. Она не кончается никогда. Пусть же нашим девизом будет: *так не забудем*.

## О прессе

Глубокоуважаемые господа сенаторы,

я собираюсь представить вам *cahier de doléances*<sup>11</sup> по поводу состояния итальянской прессы, в частности в ее взаимоотношениях с политическими кругами. И делаю я это не заглазно, а пред лицом представителей печати; повторяю именно то, что писал и публиковал с 60-х годов и поныне в итальянской периодике. Этим подтверждается, что мы живем в свободном государстве, где несвязанная и непредвзятая пресса предает суду все и вся и самое себя.

Функция четвертой власти — несомненно, контролировать и критиковать три традиционных вида власти (имеются в виду власть политическая, власть экономическая и власть партий и профсоюзов). Такое, опять же, возможно лишь в свободном государстве, где критика не наделяется репрессивной функцией. Средства массовой информации влияют на политическую жизнь страны, лишь формируя общественное мнение. В то же время и традиционные виды власти контролируют и критикуют масс-медиа лишь через посредство тех же масс-медиа, в противоположном случае вмешательство властей является санкцией, исполнительной, законодательной или судебной; а это может происходить, только когда масс-медиа нарушают правопорядок или расшатывают политическую или государственную стабильность.

Поскольку, однако, сами масс-медиа, а в нашем с вами случае печать, не должны пребывать вне критики, неоспоримое условие демократии — чтобы печать периодически ставила под вопрос самое себя.

Но одной постановки под вопрос недостаточно. Хуже того, подобное поведение может составить замечательное алиби, или, говоря довольно резко, работать в смысле «репрессивной толерантности» (термин Маркузе): совершив акт самобичевательной непредвзятости, пресса уже не чувствует потребности в самопреобразовании. Лет двадцать назад журнал «Эспрессо» заказал мне большую критическую статью о том же «Эспрессо». Считайте это неуместным

<sup>11</sup> Книга жалоб (*фр.*).

скромничаньем, но я убежден, что если «Эспрессо» с той поры и улучшился, заслуги моей статьи в этом никакой нет, а есть одна природная эволюция. Моя статья, насколько помню, имела результат «где сядешь, там и слезешь».

В данный момент я не собираюсь клеймить прессу за ее нападки на политиков, представлять политические круги как несчастную жертву произвола со стороны прессы. Наоборот, полагаю, что политический мир в полной мере разделяет с прессой ответственность за ситуацию, которую я пытаюсь обрисовать.

Далее. Не ропщу, как любят делать провинциалы, что худо только то, что происходит в нашем околотке. И не хотел бы выглядеть как та же самая наша пресса, порой впадающая в такую ксенофилию, что любое название зарубежной газеты предваряется прилагательным «авторитетная», причем доходят до абсурда типа «авторитетное издание „*Нью-Йорк Пост*“», в неведении, что «Нью-Йорк Пост» — третьесортная газетенка, которую посовестились бы брать в руки даже в Омахе, штат Небраска. Так вот, болезни итальянской прессы свойственны в наше время почти что любой нации. И все же отрицательные примеры других национальных культур я постараюсь приводить лишь в крайних случаях, поскольку от чужой глупости своя не уменьшается. И напротив, охотно воспользуюсь чужими реалиями, если увижу, что они выступают положительной моделью для нас.

Последняя предпосылка. В качестве основных источников я буду использовать «Републику», «Коррьере делла Сера» и «Эспрессо». Таково требование корректности: в этих трех периодических изданиях я печатался и продолжаю печататься, а следовательно, моя критика не сможет выглядеть как предвзятая или злоумышленная. Но будем иметь в виду, что проблемы, которые я выделяю, относятся ко всей итальянской прессе.

### Полемика в 60-е и 70-е годы

В шестидесятые и семидесятые годы полемика о характере и функции периодической печати в основном шла по двум направлениям:

а) разграничение между информацией и комментарием, а следовательно, призыв к объективности;

б) пресса — инструмент власти, то есть партий и экономических лобби. Главное ее оружие — намеренное затемнение смысла высказывания, поскольку идея состоит не в том, чтобы снабжать информацией читателей, а в том, чтобы через голову этих читателей направлять тайные сигналы другим властным группировкам. Языку самих политиков присуща жезашифрованность, а очаровательный фразеологизм «параллельные конвергенции» сохранился в истории наших масс-медиа как символ специального жаргона, который может быть, и употребителен в кулуарах парламента, но непостижим для рядовых телезрителей.

Мы можем убедиться, что обе вышевыделенные темы в значительной степени отошли в прошлое. Во-первых, имела место широкая полемика об объективности, в которой многие утверждали, что (за исключением прогноза погоды) объективной информации не существует и существовать не может. Даже при педантичном отделении комментария от сообщения сам по себе подбор сообщений и их расположение на полосе несут в себе имплицитное суждение. Так, в последние годы господствует стиль «тематизации» — на полосе собираются статьи, объединенные общей тематикой. Вот пример тематизации: стр. 17 газеты «Република», воскресный номер от 22 января. Четыре статьи: «Брешия, роженица убивает ребенка», «Рим, ребенок один в квартире, играет на подоконнике, отец арестован», «Рим. Женщины имеют право родить в роддоме и отказаться от ребенка», «Тревизо. Разведенная жена не собирается быть матерью своим детям».

Как видим, здесь тематизируется проблема несчастного детства. Возникает вопрос: нам описывают феномен, возникший именно на этой неделе? Все ли частные случаи перечислены? Если четыре описанных эпизода — это все, что имеется, можно считать тему статистически несущественной. Но, тематизируясь, та же информация выступает в виде, который юридическая и судебная риторика в классическую пору именовала *exemplum* — частный случай, из которого

выводится (или подспудно подсказывается) правило. Если случаев всего-навсего четыре, газета наводит нас на мысль, что их гораздо, гораздо больше; если бы их было гораздо больше, в газете бы это не стали объявлять. При тематизации четыре новости — это не просто четыре новости. На полосе весьма сильно подается сигнал об острых проблемах детства, чего бы там на самом деле ни хотел редактор, который, может, верстал эту страницу 17 до самой поздней ночи, не зная, что же в нее запихнуть. Всем этим я не утверждаю, будто принцип тематизации ошибочен или опасен; я говорю только, что она демонстрирует, как могут под видом абсолютно объективных новостей проводиться активные суждения.

Второй темой была мутность газетного языка; я сказал бы, что наша печать понемногу отошла от этой загадочности, что связано и с изменением речевой манеры политических ораторов: они уже не читают по листочку перед микрофоном нечто витиеватое и вязкое, а говорят простыми словами, что некто один из их команды — подлый предатель, а некто другой только и делает, что славит несравненные свойства своего воспроизводного члена. Налицо скорее не мутность, а противоположная крайность: нынешняя пресса склоняется к языку того бесформенного единства, которое принято называть «народ», причем предполагается, что народ мыслит и выражается одними пословицами. Студенты моего семинара собрали материал из итальянских газет за календарный месяц. Выходило в таком вот духе (выдержки из одной и той же статьи в «Коррьере делла Сера» от 11 января 1995 года): «Надежда умирает стоя», «Мы зажаты клинчевым захватом», «Дини объявляет: наступил год тощих коров», «Обитатели Квиринала зажигают костер на военной тропе», «Снявши голову, не оплакивай шевелюру», «Паннелла попадает в самое яблочко», «Время не ждет, коней на переправе не меняют», «В парламенте разворачиваются баталии», «Пристали как банный лист с ножом к горлу».

В статье в «Република» от 28 декабря 1994 года мы читаем, что «Надо спасать и козу, и капусту», «Поспешись — людей насмешишь», «А от друзей береги меня Господь», «Новое коленце этого балета», «Фининвест опять в боксерской стойке», «Каша заварена, и придется ее расхлебывать», «Вновь разверзаются небесные скрижали», «Сорную траву с поля вон», «Унюхать бы, куда ветер дует», «Телевидению — львиная доля, нам перепадают крошки», «Надо двигаться проторенной дорогой», «Индекс популярности катастрофически ухает вниз», «Проходит красной нитью», «Имеющий уши да слышит», «Нащупать пульс рынка», «Болезненный шип под ребро», «Под знаменами такой-то идеи... оставил в битве немало пуха и перьев». Не газета, а сказки Матушки Гусыни.

Хочется понять, как минимум, насчет всех этих клише, в большей ли степени они постижимы, нежели «параллельные конвергенции», которые хотя бы «Красным Бригадам» были вняты и впрямь сделались для них руководством к действию.

Заметим, кстати, что все эти законсервированные выражения, лакомые для «народа», на пятьдесят процентов изобретаются сочинителями передовиц, а на пятьдесят процентов черпаются из многоглаголания парламентариев. Как видите, я сейчас тоже склоняюсь к готовой схеме: «круг сужается», и вырисовывается тень дьявольского Komplota, в котором неизвестно, кто же является совращенным, а кто совратителем.

Таким образом, исчерпалась стародавняя дискуссия об объективности и зашифрованных способах выражения. Сейчас эпоха новой проблематики. В чем она состоит и откуда рождается?

### **Ежедневник эволюционирует в еженедельник**

В шестидесятые годы газеты еще не страдали из-за конкуренции с телевидением. Один только Акилле Кампаниле<sup>12</sup> на конгрессе по проблемам ТВ в Гроссето в сентябре 1962 года проявил блистательное предвидение: в прежние времена газеты были первыми проводниками новых известий, лишь потом вступали издания другого типа и углубленно прорабатывали

<sup>12</sup> Акилле Кампаниле (1900-1977) — итальянский писатель-юморист, автор романов и рассказов в абсурдистском стиле.

газетные темы. Газета была как телеграмма, в конце текста как будто шла строка: «Подробности письмом». И вдруг с 1962 года телеграфная новость стала появляться по вечерам в восемь часов в программе теленовостей. Наутро следующего дня газета перепечатывала те же новости. Новости начали преподноситься по формуле: «Следует (точнее, предшествует) телеграмма».

Почему только Кампаниле, гений комического, заметил эту парадоксальную ситуацию? Потому что ТВ было еще ограничено одним, максимум двумя каналами, подчинявшимся режиму. Поэтому ТВ не считалось (и в значительной степени не было) достоверным источником: газеты говорили о большем и говорили не столь расплывчато; сатирики формировались в кино, в кабаре, не всегда они попадали на телевидение; политическая информация распространялась на площадях из уст в уста или при помощи настенных плакатов; опросы общественного мнения в шестидесятые годы представляли собой прямые диспуты нескольких политических трибун, на которых, ради того чтобы соответствовать своими предложениями запросам среднестатистического телезрителя, представители компартии говорили нечто очень похожее на то, что говорили христианские демократы, то есть различия затирались и каждый старался выглядеть по возможности нейтрально-положительно. Поэтому полемика и политическая борьба находили себе иное пространство, большей частью страницы газет.

Потом наступил скачок, количественный (телеканалы стремительно умножились) и качественный: даже внутри государственного телевидения определились три канала, каждый с особой политической ориентацией. Сатира, оживленная дискуссия, механизм раздувания сенсаций переместились на экраны телевидения, телевидение отменило даже табу на сексуальность — таким образом некоторые программы позднего вечера стали гораздо откровеннее монашеских обложек «Эспрессо» и «Панорамы», где фотокамера не имела права опускаться до уровня ягодич. Еще в начале семидесятых годов, помнится, я писал в обзоре об американских ток-шоу как о показе цивилизованной, остроумной беседы, которая способна удерживать зрителей у экранов вплоть до глубокой ночи, и страстно предлагал их как модель для ТВ итальянского. Потом настало время, когда все более триумфально ток-шоу начали шествовать по итальянским телеэкранам, но мало-помалу они становились плацдармом самых остервенелых сражений, в ряде случаев переходящих в рукопашные, и фейерверком ненормативной лексики (истины ради заметим в скобках, что эволюция того же рода час тично произошла и в ток-шоу на других национальных ТВ).

Так телевидение превратилось в канал распространения информации из первых рук, а для газеты остались, в сущности, два пути: о первой из возможных вариаций (которую я пока что условно назову «путь расширенного внимания») мы поговорим несколько позже; но есть все основания утверждать, что печать в огромном своем большинстве двинулась по альтернативной дороге, то есть «в направлении еженедельника». Ежедневник перенимает и усваивает все больше традиционных черт еженедельника, отводя огромное пространство «всякой всячине», рассуждениям по поводу быта и нравов, политическим сплетням, зрелищам. Это ставит в трудное положение еженедельники высшего уровня (я имею в виду «Панораму» и «Эпоку», «Эуропа» и «Эспрессо»). Им тоже остается две дороги: либо «приближение к ежемесячнику», — но эта ниша забита ежемесячными специальными изданиями: по парусному спорту, по наручным часам, по кулинарии, по компьютерам, изданиями, опирающимися на верных и преданных покупателей/подписчиков, — либо захват пространства светских сплетен, которое принадлежит либо еженедельникам не высокого, а среднего уровня, таким, как «Дженте» и «Оджи», смакующим королевские свадьбы, либо журналам низкого пошиба («Новелла зоо», «Стоп», «Ева Экспресс») — для обожателей великосветских адюльтеров и охотников за голыми грудями и задами, снятыми скрытой камерой в полумраке ватерклозетов.

Но еженедельники высокого уровня не могут опускаться ни до низкого пошиба, ни даже до среднего, кроме как на последних листах, что они и делают: именно там следует искать (и находить) груди, сердечные дружбы и шикарные свадьбы. С другой стороны, подобным образом они теряют лицо перед собственной публикой: чем больше еженедельник высокого уровня соприкасается с уровнем посредственным и низким, тем больше к нему приливают потребители, не принадлежащие к его традиционному кругу; журнал перестает понимать, кто

по-настоящему входит в его круг, и оказывается в кризисе: повышается тираж, теряется лицо.

Вдобавок журналы смертельно страдают из-за всех этих недельных толстых цветных приложений к ежедневным газетам. Единственный для них выход из положения — равняться на издания вроде тех, что в Америке адресованы элите, типа «Нью-Йоркера», в котором содержатся: репертуары театров, интеллектуальные комиксы, краткие поэтические антологии и достаточно часто — статьи длиной в два печатных листа с биографией, скажем, издательской гранд-дамы вроде Хелен Вольф. Можно еще использовать модели «Тайме» или «Ньюсуик», которые будто соглашаются с ролью еженедельников, рассказывающих о событиях, которые уже были поданы в газетах и на телевидении, но об этих событиях подготавливаются исчерпывающие обзоры, подбираются в «кусты» статьи нескольких журналистов, каждая из которых требует месяцев усиленной работы и редактируется до судорог, так что очень редко бывает, чтобы в этих изданиях приходилось печатать извинения и фактические опровержения. С другой стороны, и «нью-йоркерские» статьи заказываются много месяцев заранее, и если статью потом не принимают, то автору все равно выплачивается гонорар (и превосходный), а статью кидают в корзину. Номера таких журналов стоят очень дорого, существуют в расчете на международный рынок читающих по-английски и невообразимы для небольшого рынка читающих по-итальянски, поскольку число читающих итальянцев по сей час остается бесконечно малой величиной.

Поэтому еженедельник хочет угнаться за ежедневником по той же самой колее, и каждый тщится переплюнуть другого, чтобы отвоевать читателей. Вот из-за этого и прогорел славный «Эуропео», и поэтому «Эпока» отчаянно ищет альтернативных путей и держится телевизионными презентациями; «Эспрессо» и «Панорама» бьются за то, чтоб отличаться друг от друга, и достигают цели, однако публика все меньше замечает это. Многие мои собеседники, в том числе интеллигентные, хвалили в беседе со мной мою рубрику в «Панораме» и даже добавляли, что каждую неделю покупают «Панораму», лишь бы почитать меня<sup>13</sup>.

### Идеология зрелищности

А ежедневники? Чтоб тягаться с недельными журналами, газеты толстеют, чтоб толстеть, сражаются за рекламодателей, чтобы привлечь рекламодателей, снова толстеют и выдумывают разные подарки. Надо забивать все эти страницы; они должны о чем-то говорить; чтобы говорить, приходится выходить за пределы скупой информации (которая вдобавок уже поступила из теленовостей), так что газеты подражают еженедельникам все больше и больше, а также вынуждены изобретать новости или выдавать за новости то, что новостями не является.

Вот пример. Сколько-то месяцев назад, когда мне давали премию в Гринцане, на вечере обо мне говорил мой давний коллега и друг Джанни Ваттимо. Те, кто разбирается в философии, знают, что моя позиция и позиция Ваттимо сильно различаются, но что тем не менее мы относимся друг к другу с сугубым уважением. Многим известно еще, что мы с ним близко дружим с самого раннего отрочества и обожаем пошпынять друг друга в любой подходящей застольной ситуации. В тот день на нас с Ваттимо нашел именно такой застольный тон: он сказал обо мне несколько остроумных и дружелюбных фраз, на что я ответил не менее шутливым образом, обрисовывая в анекдотах и парадоксах наши вековые дивергенции. На следующий день одна итальянская газета шархнула на полную полосу («Культура») новость о жуткой стычке на премии Гринцане, которая, по мнению автора статьи, символизировала некий новый драматический и непреодолимый раскол в итальянской философии. Автор статьи прекрасно знал, что новости никакой не было, пусть даже и культурной. Он попросту раздул сенсацию, причем на пустом месте. Предоставляю вам самим найти подобные примеры в области политики. Однако культурный пример характерен: журналу требовалось изобрести сенсацию, чтобы хоть чем-нибудь заполнить чрезмерное количество страниц, отведенных на всячину, культуру и нравы и пронизанных идеологией зрелищности.

<sup>13</sup> В течение последних 30 лет Эко ведет постоянную рубрику не в «Панораме», а в «Эспрессо».

Возьмем хоть «Коррьере делла Сера» (44 полосы) и «Републику» (54 полосы) за понедельник, 23 января. Учитывая, что верстка у «Коррьере» более емкая, будем считать, что количество материала в этих номерах примерно совпадает. Понедельник — трудный день, день без свежих политических и экономических новостей, в крайнем случае можно отвести душу на спорте. В Италии на этот день приходится разгар правительственного кризиса, и оба наших журнала имели возможность разместить подвалы на тему дуэли Дини с Берлускони. Теракт в Израиле в годовщину Освенцима занял собой большую часть первой полосы. В довесок был процесс Андреотти<sup>14</sup> и, в случае «Коррьере», кончина долгожительницы — старейшины семьи Кеннеди. Имелась хроника военных действий в Чечне. Где взять остальную газету? Оба издания посвятили соответственно 7 и 4 страницы разделу городских происшествий, отвели 14 и 7 — на спорт, 2 и 3 — на культуру, 2 и 5 — на экономику, и 8 и 9 страниц на нравы, зрелища и телевидение. В обоих случаях из 32 страниц приблизительно 15 были отданы под обзоры стиля «еженедельник».

Сравним теперь с «Нью-Йорк Тайме» за тот же понедельник. 53 полосы, 16 из которых ушли под спорт, 10 заняты городскими проблемами и 10 — проблемами экономики. Осталось 16 страниц. Там у них никакого кризиса не происходило, Вашингтону тоже было нечем особенно похвалиться, поэтому 5 страниц под шапкой «National Report» были заполнены внутренними событиями. А затем, после описания израильского смертоубийства, я увидел не менее десятка статей о Перу, Гаити, о беженцах с Кубы, о Руанде, Боснии, Алжире, о международном конгрессе по проблемам бедности, о Японии после землетрясения, о процессе епископа Гэйо. Затем — две убористые полосы со статьями комментаторов и политических аналитиков.

Наши две итальянские газеты не говорили ни о Перу, ни о Гаити, ни о Кубе с Руандой. Допустим даже, что первые две темы больше интересуют американцев, нежели европейцев. Но в любом случае наглядно, что в мире происходили какие-то международные события и что итальянские газеты ими пренебрегли, чтоб увеличить квоту зрелищно-телевизионной тематики. «Нью-Йорк Тайме» в порядке исключения ради понедельника посвящает две страницы медиа-бизнесу, но занимается не выбалтыванием секретов и не сплетничаньем об известных персонах, а обдумыванием и экономическим анализом проблем шоу-бизнеса.

### Газета и телевидение

Итальянская печать одержима телевидением. Именно телевидение определяет лейтмотивы нашей печати. Ни в одной стране мира, ни в одном издании мира новости, касающиеся ТВ, не красуются, как у нас, в шапках первых полос (если только Миттеран и Клинтон не выступят за день до того с обращением к народу или если в стране не поменяется руководитель крупнейшего национального телеканала).

Не надо мне отвечать, что про ТВ пишут, дабы занять место. А как же тогда «Нью-Йорк Тайме» от воскресенья, 22 января? В общей сложности — 569 страниц, включая рекламные вкладыши, литературную тетрадку, недельное приложение «Всякая всячина», огромные разделы путешествий, автомобилей и проч. Говорится ли что-нибудь о ТВ? Все же не последний электробытовой прибор в американской жизни. Да, говорится. На странице 32 в приложении по искусству и зрелищам есть, во-первых, обзор по поводу расовых стереотипов в программах, а во-вторых, большая рецензия на хороший документальный фильм о вулканах. Потом — вкладыш с программами, это само собой, и, в сущности, тема телевидения больше не возникает, не просматривается она и в разделе быта и нравов. Значит, неправда, что о телевидении говорить обязательно, чтобы заполнить место и заинтересовать публику. Значит, это итальянский вариант, а не суровая необходимость.

В тот же день у нас в Италии газеты много занимались телепередачей, которую ведет

<sup>14</sup> Судебное расследование по делу о коррупции, затронувшее бывшего министра (непрерывно с 1954 г) и премьер-министра (неоднократно) Италии Джулио Андреотти (род. в 1919) обвиненного в связях с мафией.

Кьямбретти (причем передачу лишь предстояло смотреть, так что наличествовал факт бесплатного рекламирования), где главный сюжет состоял в том, что Кьямбретти порывался войти с телегруппой в университетскую аудиторию, где в тот момент шла моя лекция, а я, из уважения к месту и к процессу, его не пустил и дурачиться на лекции не позволил. Если новость состояла именно в этом (поскольку действительно ново, что удалось защитить какое-то святое место от телеосквернения), она заслуживала четырех строк в отделе курьезов.

А если бы ко мне на лекцию постучался с телекамерой кто-то из политиков, а я бы предложил ему удалиться? Даже не входя в аудиторию, даже не мелькнув на экране, этот политик попал бы на первые полосы газет. В Италии политики привлекают первостепенное внимание журналистов в случае, если изрекут нечто с экрана ТВ (или даже только предупредят, что хотят изречь). Газеты пишут не о том, что происходило накануне в государстве, а о том, как о происшедшем кто-то высказался или мог бы высказаться по «ящику». И если бы только это! Несомненно, хлесткие фразы политиков на ТВ у нас фигурируют вместо формального пресс-коммюнике. Да чего там, в Италии считается годным для первой полосы, в качестве политических новостей, даже обмен оплеухами между депутатами Д'Агостино и Згарби в парламенте.

Безусловно, у нас в стране, более чем где-либо, телевидение тесно переплетено с политикой, иначе не вводился бы принцип *par condicio* (равных квот телевремени для каждого политического объединения). Так было еще во времена государственного телевидения, управлявшегося Бернабеи, то есть задолго до прихода Берлускони с его частными каналами «Фининвест». Газеты обязаны отражать эту переплетенность. Один знакомый иностранец прочитал наши газеты за 29 января и правильно заметил, что только в Италии может быть такое: на первой полосе и на седьмой полосе «Республики» и на пятой полосе «Коррьере» поперек многих колонок красуется историческое заявление того же телеведущего, Кьямбретти: «Не уйду из передачи» (связанное с нападками другого телеведущего, Санторо, имевшими место накануне). Разумеется, личные дела одного из конференсье не должны бы составлять главную новость дня в стране, особенно если этот конференсье не замышляет ничего нового, а спокойно продолжает делать, что и делал. Говорят, что когда собака кусает человека — это не газетный факт, газетный факт — когда человек кусает собаку. В данном случае на первой полосе оказалась собака, не кусавшая никого. Но все не так просто. Мы помним, что та жаркая дискуссия по поводу Кьямбретти, где участвовал и знаменитый журналист Энцо Биаджи, была сигналом глубинного неблагополучия, и полемика действительно имела политическую окраску. Так что, честно говоря, газеты были просто обязаны вынести это на первую полосу, виноваты не газеты, а положение дел в Италии. В то же время отважусь заявить, что ответственность за подобное положение дел в Италии в немалой степени несет та же самая печать.

Вот уже сколько лет печать, чтоб располагать к себе телезрителей, создает образ ТВ как главного политического пространства, тем самым бесконечно рекламируя своего природного конкурента. Политики сделали из этого надлежащие выводы: они серьезно отнеслись к телевидению, они усвоили телевизионный язык и телевизионную манеру в справедливой уверенности, что лишь этим путем они завоюют выгодное освещение в печати.

Печать сообщает зрелищу безмерный политический вес. Поэтому ясно, отчего политики, стараясь привлечь к себе внимание, проводили в парламент порнозвезду Чиччолину. Случай Чиччолины — характерный, потому что в силу инстинктивной застенчивости (*pruderie*) телевидение не осветило Чиччолину так массивно, как ежедневная и еженедельная печать.

## Интервью

Завися от ТВ всей своей формулой, печать решила подражать телевидению и стилистически. Самым типичным путем преподнесения любой информации — политической, литературной, научной — стало интервью. Интервью необходимо на телеэкране, где невозможно говорить о ком бы то ни было, не показывая его, но для прессы интервью было инструментом, который в прошлом использовался чрезвычайно аккуратно. Ведь интервьюировать кого-либо означает дарить ему пространство, на котором он станет говорить

то, что хочется ему. Подумайте о том, что происходит, когда кто-то публикует новую книгу. Читатель хотел бы получить от газет и журналов оценку этого труда, он доверяется мнению знаменитого критика либо полагается на серьезность печатного органа. Но в наше время газеты воспринимают как поражение, если им не удастся застолбить в первую очередь интервью с автором этой книги. А что такое интервью с автором? Неизбежно — его самореклама. Трудно вообразить, что автор заявит, что написал препоганую книгу. А следовательно, начинается и подспудный шантаж (знаю по опыту, то же случается и в других странах): «Если не дашь интервью, не напечатаем и рецензию». При этом часто газета, удовлетворенная своим интервью, о рецензировании уже и не заботится. В любом случае читателю нанесен урон: рекламная акция опередила или же заменила собой критическое суждение, и часто критик, когда он наконец усаживается писать, занят уже не книгой, а тем, что автор произнес о ней в своих разнообразных интервью.

В еще большей степени интервью с политиком должно было бы становиться событием знаменательным: либо оно инспирируется самим политиком, который ищет на печатной странице пространство самовыражения, либо запрашивается редакцией газеты, стремящейся углубленно обрисовать политическую позицию этого деятеля. Серьезное интервью требует длительной подготовки, а интервьюируемый (как происходит практически во всем мире) должен, по идее, прочитать и утвердить все, что закавычено, тем самым предохраняясь от путаницы и грядущих извинений/поправок. Наши же газеты печатают по десятку интервью за раз, вымученных и заклишированных, где опрашиваемый пережевывает все, что он уже говорил в интервью другим изданиям. Однако конкуренция — дело нешуточное, и, чтобы набирать очки, надо, чтобы интервью было поэффектнее, чем в других газетах. Значит, фокус состоит в том, чтобы выдоить из политика какое-то полупризнание, пригодное, при раздутой его подаче, вызвать последующий скандал.

Что же, проинтервьюированный политик, вечно занятый в последующий день опровержением того, что он якобы возгласил в день предыдущий, — жертва акул пера? Давайте тогда его спросим: «Зачем же ты даешь эти интервью и не пользуешься эффективнейшим приемом по comment?!» В октябре прошлого года, казалось, было, что глава «Лиги»<sup>15</sup> Умберто Босси взял на вооружение именно этот прием, запретив своим депутатам разговаривать с журналистами. Было ли это провальное решение, потому что привело к атакам со стороны прессы, или это было победное решение, потому что подарило Босси не менее двух полных полос в течение не менее двух дней в масштабе всей национальной печати?

Журналисты, ведущие хронику парламентской жизни, утверждают, что в ста процентах случаев возмущенных опровержений возмущающийся политик действительно сказал именно это самое, вернее, намекнул в этом духе, специально, чтобы фраза пошла в печать и чтобы на следующий день начать ее опровергать; но при этом пробный шар все-таки им запущен и инсинуация или угроза в общем достигла цели. Давайте тогда спросим пострадавшего парламентского журналиста, обманутого коварным политиком: «Отчего же ты берешь эти интервью и не требуешь, чтобы он перечитал и подписал готовый текст?!»

Ответ на все это прост. При подобных играх все остаются в выигрыше, и не проигрывает никто. Игра засасывает, декларации и опровержения лавинообразно поступают день за днем, читатель теряет счет, он уже не помнит, что же там говорилось; а журнал знай себе вопит о новостях, а политик, своим чередом, достигает целей. Налицо гнусный сговор (*factum sceleris*) в ущерб читателям и гражданам. Это настолько распространено, это так общепринято, что мы уже не реагируем ни когда в газетах «продергивают», ни когда «передергивают».

Но, как любое преступление, дело это непродуктивное. Расплатой и для печатного органа, и для политика бывают утрата доверия и наплевизм читателей.

Дополнительную аппетитность интервью сообщает, как уже говорилось, радикально переродившийся политический язык, который, перенимая манеры и трюки телевизионной

<sup>15</sup> Имеется в виду сепаратистская партия северных провинций Италии (Пьемонт, Ломбардия, Венецианская область; под названием «Ломбардская лига» — с 1987, под названием «Северная Лига» — с 1990 г.; 20-30% голосов на региональных выборах).

дискуссии, перестает быть традиционно осмотровым и становится живописным и непосредственным. Мы так долго сетовали на то, что итальянские политики умеют только бубнить по бумажке нечто скучное и занудное, и любовались политиками Америки, которые перед микрофонами выступают как будто без подготовки, импровизируя и тем не менее пересыпая свои речи хлесткими формулировками. Так вот, подготовка на самом деле у американцев бывает, и весьма основательная: большая часть этих политиков натренировалась в университетских speech centers, где преподается ораторство как будто бы Божьей милостью, а на самом деле рассчитанное до запятой; они вставляли и вставляют в речь (за вычетом накладок) шутки, выученные по специальным учебникам или заготовленные бессонными речеписателями (ghost writers).

Вырвавшись из этикетных пут Первой Республики, политики нашей Второй болтают действительно что Бог на душу. Теперь они говорят понятнее, но более безответственно. Само собою, для газет, тем более тяготеющих «журнализоваться», это просто манна. Простите снижающее сравнение, но ситуация сходна с сельской харчевней, где, если кто глотнул лишнего и раздухарился, вся компания его подзуживает, предвкушая, чего же он смешного натворит. Такова динамика провокации и в телевизионных ток-шоу, и в беседе хроникеров с политиками. Половина явлений, которые мы называем «деградацией политического общения», вытекает из этой неконтролируемой динамики. Как я уже говорил, в угаре все давно забыли о конкретном высказывании, и осталось только общее впечатление и общий тон, приводящий к мысли, что все позволено.

### Печать о печати

В этой изнурительной погоне за высказываниями происходит вот что: все чаще газеты пишут только о других газетах. Все чаще статья в газете А извещает, что некое интервью появится завтра в газете Б, и все более часты опровержения, гласящие, что такой-то никогда не сообщал газете А об интервью для газеты Б, вслед за чем появляются ответы журналистов, которые утверждают, что факт сообщения газете А об интервью в газете Б подтверждается газетой В, не обинуясь тем, что и в В высказывание забрело непрямым путем из газеты Г.

Печать, когда она не пишет о телевидении, пишет о самой себе: научилась от телевидения, которое говорит большей частью о телевидении. Это ненормальное положение вызывает не беспокойство и не возмущение, а играет на руку политикам, для которых удобно, что одно только сообщение в одном только средстве печати мгновенно получает резонанс во всех остальных существующих органах. Таким образом масс-медиа из окна в реальность превращаются в зеркало, зрители и читатели созерцают чистый акт самолюбования печати: «Свет мой зеркальце, скажи...»

### Кто выдумывает сенсации?

Журнал «Эспрессо» нередко выступал инициатором кампаний, определявших стиль времени, к примеру давняя и знаменитая «Коррупция столицы — нездоровье нации». Как, в техническом смысле, организуются подобные кампании? У меня дома есть только один полный комплект «Эспрессо» — за 1965 год, и на днях я перелистал и просмотрел его. С номера 1 до номера 7 основные статьи посвящены то политике, то нравам. Ничего экстраординарного. В номере 7 помещен репортаж Яннуцци «Гроссбух св. Петра», где Ватикан обвинен в укрытии сорока миллиардов лир, причитавшихся в казну Италии в качестве налогов за последние три года. Все это печатается в период проведения Ватиканского собора, то есть момент выбран довольно острый. В номере 8 тема налогов не возникает. Но вместо этого помещается статья о пьесе Хохгута «Викарий», представление которой было запрещено римской квестурой, и статья Скальфари на ту же тему. Еще есть статья без подписи о некоторых аспектах Ватиканского собора. Ненавязчиво, даже почти незаметно разговор о пьесе «Викарий» снова возникает в театральном разделе, где напечатана заметка Сандро Де Фео. В номере 9 начинается серия

репортажей Камиллы Чедерна о закулисных играх вокруг Ватиканского собора, и серия эта тянется вплоть до номера 13.

Только в номере 13, то есть почти два месяца спустя, журналист Ливио Занетти программной статьей открывает политическую дискуссию (о необходимости изменить условия конкордата с Ватиканом) и только в самом конце снова затрагивает тему предположительных нарушений Ватиканом налогового законодательства. Новое эхо этой проблемы — в номере 14, но на первую полосу она не вынесена. В номере 15 тема Церкви звучит в статье Фалькони о священниках-диссидентах и в сообщении о новом по тем временам явлении — церкви Барбиана<sup>16</sup>. Только в номере 16, в статье от редакции, на первой полосе речь идет ополитической подоплеке визита Ненни в Ватикан. Как Итальянскому государству добиться уважения к законам и правам Италии?

С номера 18 главное внимание уделяется новой кампании, посвященной судопроизводству.

Журнал в те времена несомненно имел четкую стратегию, было ясно, что «Держи вора!» можно кричать не каждую неделю, так что пафос дозировался, информация подавали продуманно, читателям предоставляли выработать собственную позицию постепенно, правящая прослойка могла прочувствовать всю важность ненавязчивого, но настойчивого анализа, и журнал давал ощутить, что при необходимости вполне способен снова вынести тему на первый план.

Могли бы какой-то еженедельник в наше время повести себя аналогично? Нет, не мог бы. Во-первых, «Эспрессо» в те времена был нацелен, что видно и по тиражу, и по графическому оформлению, на правящую прослойку. Сейчас у него читателей по крайней мере впятеро больше. Теперь он не может использовать технику тонкого, поступательного и размеренного убеждения. Во-вторых, на первой же фазе сенсационный материал был бы подхвачен и раздут другими изданиями и средствами коммуникации, и, чтоб иметь возможность вернуться к теме, журналу пришлось бы тут же поднимать планку, находить еще более горячие факты, а следовательно, выдавать недостаточно проверенную информацию. В-третьих, в политической среде и на телевидении эта тема неминуемо переросла бы в скандал. Предметом обсуждения выступало бы не предполагаемое уклонение от налогов, и не проблематика папского конкордата, а живописное рукоприкладство, вспыхнувшее из-за этой проблематики; да и журнал бы сообщал только о том, как высказались другие журналы и тележурналы на данную тему. В-четвертых, наконец, нельзя не учитывать, что одной из главных перемен в журнальном и газетном деле явилось принципиально новое взаимоотношение с судебным следствием. Раньше печать выявляла то, что замалчивалось политическими структурами и не лежало в поле зрения прокуратуры. В ходе антикоррупционной борьбы последних лет наши следователи и прокуроры настолько усилили обвинительную активность на всех уровнях, что прессе почти что нечего выявлять. Ей остается только перепевать (или предвосхищать, алчно вынюхивая любую утечку информации) обвинения, идущие от прокуратуры, или же, в противном случае, клеймить ту же прокуратуру, тащась при этом в кильватере телепередач. Раз так, взаимодействие сторон становится конвульсивным. А эти конвульсии выхолащивают его содержательное наполнение, иными словами, единственным суммарным его содержанием становится опошление политического процесса.

Если в старые времена газеты засылали лазутчиков в кулуары римских дворцов власти с целью выудить хоть какие-то осторожные полупризнания у информированных людей, то сейчас, коль на то пошло, газетам приходится отбиваться от тех, кто по собственному почину приносит им аппетитнейшие досье, которые, если напечатать их без скрупулезной проверки, превратят издание в громкоговоритель вранья и подорвут его авторитет. Играть приходится почти всегда в защите, отбивать подачи извне. Стиль Пекорелли (игравшего на площадке между хроникой, политикой, анализом и сенсацией) одержал верх над стилем Арриго Бенедетти, который видел в журналистике суверенную «четвертую власть».

<sup>16</sup> Церковь Барбиана — новаторский для 1960-х гг. педагогический эксперимент — приходская школа дона Лоренцо Милани для беднейших крестьянских детей.

Под иными небесами положение вещей, в сущности, такое же, как у нас. Во Франции недавно с горечью наблюдали, как в погоне за сенсацией были взломаны самые интимные секреты президента Республики. Что же до реальных результатов этой беготни за скандальными фактами, знаменательно сопоставление Никсона с Клинтонем.

До появления уотергейтских публикаций в газете «Вашингтон Пост» история не знала прямых нападков на честь и на личность резидента США, допускались лишь нападки политические. В случае Никсона характер инкриминируемого злодеяния позволял ему легко откреститься, спихнув вину на ретивых сотрудников. Однако он крупно ошибся, прибегнув с самого начала ко лжи. Ухватившись за это, журналисты грохнули в колокола: президент Соединенных Штатов — обманщик! Вот Никсон и пал, не потому что был опосредованно виновен в нарушении прав человека, а потому что попался на вранье. Нападающие выбрали позицию четко, уверенно, обдуманно и именно поэтому одержали успех.

И соответственно, кампания против Клинтона гораздо слабее и отрывочнее: ей потребно по скандалу в день; чтоб раздобыть скандал, печать приписывает Клинтону и Хилари все смертные грехи — от спекуляций недвижимостью до кормления кошки на казенный кошт. И теряет меру. Общественное мнение всем этим травмировано и воспринимает факты скептически. Результатом и в этом случае является опошление политической борьбы: теперь лидера можно поменять, только посадивши его в каталажку.

### Что делать?

Для выхода из этого противоречия печать может избрать одну из двух дорог, в равной степени нелегких, так как видим, что даже и за границей издания, избравшие эти пути, сейчас вынуждены менять тактику в соответствии с новыми временами.

Первый путь условно назову «Фиджийский вариант». В 1990 году я провел почти целый месяц на островах Фиджи, а в прошлом — месяц на Карибах. В тех широтах единственное чтение — местная газета. Восемь-десять страниц, почти целиком заполненных рекламой ресторанов и новостями местного масштаба. А между тем, когда я был на Фиджи, начиналась война в Персидском заливе, а на Карибы я попал, когда в Италии должен был приниматься декрет Бьонди<sup>17</sup>.

Что вам сказать? Обо всех крупнейших новостях планеты меня уведомили! Нищие листки, живущие нахватыванием фактов из телеграфных агентств, умудрялись каждый день печатать сводку всех первостепенных новостей, появлявшихся в мире. И из моего далека я сознавал, что то, о чем газета острова Фиджи умолчала, не может быть такой уж сногшибательной новостью.

Фиджийский путь, несомненно, обрекает газету на катастрофическое падение продаж. Газета становится бюллетенем для элиты в духе биржевки, ибо, чтобы оценить новость, поданную в телеграфном стиле, нужен наметанный глаз. Жуткий урон наносится политикам, они лишаются критического внимания печати. Самые поверхностные из них могут, конечно, ответить на это, что им и телевидения довольно. Однако телевидение, как и любое зрелище, затрепывает людей. Фанфани<sup>18</sup> продержался значительно дольше Ниллы Пицци<sup>19</sup>. Политики должны зреть и расти под воздействием критики, квалифицированной, спокойной и рассудительной, которую только газета принимает и размещает. И из-за нынешнего положения, когда ежедневная печать сведена к еженедельнику и задавлена телевидением, страдает в

<sup>17</sup> Постановление правительства Берлускони (лето 1996) о прекращении расследования дел о коррупции; вызвало протест итальянского общества и привело к падению правительства.

<sup>18</sup> Аминторе Фанфани (род. в 1908) — с 1954 г — секретарь христ.-дем. партии, многократно — министр правительства Италии, председатель Сената Итальянской Республики.

<sup>19</sup> Нилла Пицци (род. в 1919) — популярная на телевидении 50-х гг. эстрадная певица.

первую очередь прослойка политиков. Может, бывают и кое-какие плюсы, но лишь для немногих, самых отъявленных и ненадолго.

Второй вариант я в начале этого очерка условно поименовал «путь расширенного внимания». Пусть ежедневная газета не стремится к модели еженедельника, занятого бытом и нравами. Пусть она станет четким, авторитетным источником информации обо всем, что делается в мире. Пусть она не только оповещает читателей, что вчера в государстве третьего мира случилась революция, а уделяет развитию дел в этой стране постоянное, ровное внимание, в том числе на этапе, когда события только начинают назревать, и поясняет при этом читателю, из каких экономических или политических интересов, в том числе существенных для нашей нации, следовало бы присматриваться к определенным фактам, имевшим место там у них. Но этот тип газеты взыскует и от читателей определенной выучки. А у нас в Италии, прежде чем переучишь читателей, потеряешь их всех до единого. Даже у «Нью-Йорк Тайме», имеющего весьма подготовленный контингент читателей и работающего в Нью-Йорке практически в режиме монополии, сейчас завелся яркий пестрый и гораздо более легкий конкурент «US Today», который оттягивает на себя читателей.

Однако имеется еще один прогноз. С развитием информатики и интерактивного телевидения в скором будущем любой из нас сможет выпускать и печатать в собственной квартире, нажавши кнопку дистанционного управления, собственную ежедневную газету, куда он подберет материал из миллиона компьютерных источников. Это будет смерть ежедневным газетам — хотя, наверное, не перемерут издатели, которые продолжают торговать информацией, пусть и по иным расценкам. Но такая домашней выпечки газета способна говорить только о том, чем читатель уже и прежде интересовался, и исключает потребителя из всего того оборота новостей, суждений, предостережений, который необходим для оформления его кругозора. Не перелистывая газеты от корки до корки, читатель лишается новостей неожиданных или нежеланных. Так выделится элита высокоинформированных потребителей, знающих, откуда и когда надо получать информацию, и останется масса информационных люмпен-пролетариев, которые жаждут знать обстоятельства рождения в их околотке двухголового кабана, но не ведают, что делается в подлунном мире. Примерно такова уже и сейчас картина в американских газетах, кроме центральных: нью-йоркских, сан-францискских, лос-анджелесских, вашингтонских и бостонских.

В этом случае опять же главную подножку получили бы политики, отогнанные на телевидение: установился бы режим плебисцитарной республики, в которой избиратели чувствительны исключительно к эмоциям текущего момента, от передачи к передаче и от часа к часу. Некоторым такая ситуация может показаться идеальной, однако в подобном случае не только отдельным политическим персонажам, но и группировкам и политическим движениям сужден бы был век короче, чем у манекенщицы.

Будущее остается, разумеется, за Интернетом, и такие политики, как Эл Гор, уже давно это осознали. В сети информация распространяется по несчетным независимым каналам, система не имеет головы и не подвластна контролю, все полемизируют со всеми, каждый в отдельности не только реагирует на любые опросы в реальном времени, но принимает сообщения, в том числе высококвалифицированные, вовлекается в ритм узнавания; каждый устанавливает отношения и участвует в дискуссиях в гораздо более живой форме, нежели позволяла парламентская диалектика, не говоря уж о дряхлой традиции журнальной полемики.

Но следует заметить, что и сегодня и еще довольно долгие годы:

а) информационные сети останутся достоянием окултуренной, молодой элиты, недостижимым ни для богемой домохозяйки, ни для тех социально обделенных, к которым апеллирует наша нынешняя компартия, ни для пенсионеров, к которым взывает «Партия левых», ни для буржуазки, ходящей на митинги правоцентристского «Полюса». Шутка, шутка, не пугайтесь, но есть в ней доля истины: информационная сеть на нынешнем этапе скорее всего даст власть вовсе не вам и не вашему традиционному электорату, а студентам моего семинара, которые в две минуты наладят компьютерный мост с «яппи» с Уолл-Стрит;

б) никем не доказано, что эти сети так и останутся безголовыми и никак не контролируемы сверху. Уже и сейчас в Интернете хватает перенаселенности и пробок, а

завтра некий Большой Брат может наложить лапу на каналы доступа, и тогда дискутируй не дискутируй о политической квоте участия...

в) великое множество информации, которой нафаршированы электронные сети, само собой вынудит к цензурированию из-за перенасыщения. Воскресная «Нью-Йорк Таймс» собирает в себе действительно all news that's fit to print — «абсолютно все, что годно к публикации», то есть не сильно отличается от «Правды» сталинских времен, потому что, раз все равно невозможно прочитать всю ее даже и за семь дней, это вроде как если бы информация уже прошла цензуру. Перенасыщенность информацией приводит или к явной случайности отбора, или к сугубо квалифицированной селекции, которая по плечу, опять-таки, лишь высокообразованной элите.

Чем завершить эту тему? Я полагаю, что печать в ее традиционном виде, то есть газета или журнал на бумажной основе, добровольно покупаемая нами в киоске, все еще выполняет свою первостепенную функцию, основную не только для нормального развития цивилизованного общества, но и для нашего удовольствия и для услаждения нас, вот уже несколько столетий полагающих вместе с Гегелем, что прочтение газеты — утренняя молитва современного человека.

Но при нынешнем развитии событий итальянская печать отражает своими страницами неблагополучие, не зная, как от него спастись. Поскольку альтернативные варианты, как мы видели, трудноорганизуемы, следует уповать на медленную трансформацию, которая не может не затронуть и политический мир. Нельзя требовать, чтоб печать полностью заблокировала процесс «ожурналивания» газет; но нельзя поощрять ее в публикации одних только придворных сплетен или в описании живописных скандалов. Ибо в обоих случаях есть опасность коллапса.

Далее, бывает, что от политических деятелей приходят в газеты письма и их помещают под грифом «Редакция получила письмо и с удовольствием печатает». Чудно. Таким образом до нас доходит информация к размышлению, а политик принимает на себя ответственность за все свои высказывания. Попросим политиков читать все приписываемые им интервью и визировать фразы в кавычках. Возможно, интервью станут короче и реже, но относиться к ним станут серьезнее. От этого выиграют и газеты, уделом которых перестанет быть фиксация перепадов настроения, улавливаемых между глотками кофе. А чем прикажете печати заполнять пустоты? Наверное, пусть ищет новую информацию, ищет во всем мире, за пределами квартала, ведущего от верхней палаты итальянского парламента к нижней палате. Этот квартал для сотен миллионов человек не имеет никакого значения. Но эти сотни миллионов, напротив, имеют значение для нас, и газеты должны были бы нам о них побольше рассказывать, и не только потому, что несколько тысяч наших соотечественников решили строить где-то там у них что-то в стране, а потому, что от их развития в этой стране зависит будущее нашего общества.

Вот к чему я призываю и нашу печать, и наших политических деятелей, пусть побольше вглядываются в мир и поменьше в зеркало.

## **Миграция, терпимость и нестерпимое**

### **1. Миграции третьего тысячелетия**

Год 2000-й приближается. Не будем здесь дискутировать о том, когда наступит новое тысячелетие — в полночь ли 31 декабря 1999-го или в полночь 31 декабря 2000 года, как подсказывают математика и хронология. В области символов и математика, и хронология — это не более чем мнения. Число 2000 несомненно выглядит магически, трудно отрешиться от его очарования после всех романов прошлого века, где предвкушались чудесные свершения 2000 года.

С другой стороны, нас извещали, что, кстати о хронологии, все компьютеры сойдут с ума (потому что перепутаются даты) именно 1 января 2000 года, а вовсе не 1 января 2001-го. Так что, хотя наши ощущения и неуловимы и сумбурны, компьютеры-то не ошибаются, даже когда

они ошибаются: и коль они ошибаются 1 января 2000 года, значит, безошибочен именно этот год.

Для кого магичен год 2000-й? Для христианской цивилизации, естественный ответ, так как именно она отмечает два тысячелетия с предполагаемого момента рождения Христа (хотя мы знаем, что Христос не родился в год 0-й нашей эры). Нельзя говорить «для западного мира», потому что христианство распространяется и на некоторые восточные страны, и в то же время к «западному миру» относится Израиль, который учитывает нашу систему летосчисления (Common Era), но по существу ведет нумерацию лет совершенно иным образом.

С другой стороны, в XVII столетии протестант Исаак де ла Пейрер обнаружил, что китайские хронологии восходят ко временам гораздо более стародавним, чем еврейская история, и выдвинул гипотезу, согласно которой первородный грех ложится только на потомство Адама, но не на иные народы, рожденные задолго до того. Де Пейрера, разумеется, объявили еретиком, но, прав ли он был или крив с теологической точки зрения, он сумел подметить то, что ныне никем не ставится под сомнение: разное для разных цивилизаций летосчисление отражает разность теогонии и историографии, и христианство — это лишь один из вариантов. (Хочу добавить, что традиционная помета «Анно Домини» не настолько уж старинна, как принято полагать, потому что даже еще в Высокое средневековье события датировали не от Рождества Христова, а от предполагаемого сотворения мира.)

Убежден, что двухтысячный год будет праздноваться и в Сингапуре, и в Пекине, поскольку европейская модель воздействует на прочие модели. Все, скорее всего, будут прославлять наступление года 2000-го, при этом большинство народов Земли тем самым воздаст дань коммерческой условности, а не искренней убежденности. Если в Китае имелась цветущая цивилизация еще до нашего нулевого года (в те же века, кстати, цвели и цивилизации Средиземноморского бассейна; а мы почему-то употребляем для эпохи Платона и Аристотеля определение «дохристианская»), — какой смысл имеет празднование третьего тысячелетия? А смысл тот, что торжествует модель, которую предлагаю называть не «христианской» (так как 2000 год будет праздноваться и атеистами), а «европейской» и которая после открытия Христофором Колумбом Америки (на что американские индейцы возразят, что не мы открыли их, а они нас) стала моделью в такой же степени американской.

Когда мы будем праздновать переход за рубеж 2000, какой год настанет у мусульман, у австралийских аборигенов, у китайцев? Мы, конечно, не обязаны задаваться этим вопросом, 2000 год наш, это европо-центристское событие, наше внутреннее дело. И все же спрошу: не говоря уж о том, что европоцентристская модель предлагается для американской реальности, хотя Америка состоит и из африканцев, и из людей Востока, и из туземных индейцев, им с Европой идентифицироваться неестественно, — сохраняем ли до сих пор право даже мы, европейцы, идентифицировать себя с европоцентристской моделью?

Несколько лет назад в Париже открыли Всемирную академию культуры для деятелей науки и искусства всех стран мира, и был составлен соответствующий устав, так называемая Хартия. Одна из преамбул этой самой Хартии, определявшей, в частности, научные и моральные задачи академии, звучала так: в будущем тысячелетии в Европе будет наблюдаться крупномасштабная «метизация культур».

Если только ход событий по какой-либо причине не повернет резко вспять (так как все возможно), мы должны приготовиться и ожидать, что в следующем тысячелетии Европа начнет напоминать Нью-Йорк или многие государства Латинской Америки. Нью-Йорк ярко опровергает собой идею *melting pot*. В Нью-Йорке сосуществует множество культур: пуэрториканцы и китайцы, корейцы и пакистанцы. Некоторые группы слились (итальянцы с ирландцами, евреи с поляками), другие бытуют сепаратно: живут в отдельных кварталах, говорят на различных языках и соблюдают несходные традиции. Все со всеми увязаны подчинением общим законам, и все употребляют некий стандартный обслуживающий язык общения — английский, — которым все владеют неудовлетворительно. Прошу учесть, что в Нью-Йорке, в котором так называемое «белое» население, того и гляди, окажется в меньшинстве, 42% белых — евреи, другие 52% имеют самые различные корни, а так называемых *wasps*, (белых-англосаксов-протестантов) среди них меньшинство (ибо поляки, итальянцы, выходцы из Латинской Америки, ирландцы и многие другие являются католиками).

В Латинской Америке, в зависимости от места, ситуации самые пестрые. Где-то испанские колонии метизовались с индейцами. Где-то, скажем в Бразилии, еще и с африканцами, и родились так называемые «креольские» языки и нации. Даже пользуясь расистскими понятиями «крови», очень нелегко различить, каковы корни мексиканца или перуанца: европейские или же туземные, не говоря уж о выходцах с Ямайки.

Так вот, Европу ожидает именно такое будущее, и ни один расист, и ни один ностальгирующий реакционер ничего тут поделать не сможет.

Для дальнейшего разговора попробуем отграничить понятие «иммиграция» от понятия «миграция».

Иммиграцией называется переезд кого-либо (или даже многих, но в числе статистически нерелевантном) из одной страны в другую (примеры: итальянцы или ирландцы иммигрировали в Америку или турки в нынешнее время — в Германию). Феномены иммиграции могут быть проконтролированы политическими средствами, ограничены, поощрены, запрограммированы или приняты как данность.

С миграциями все обстоит иначе. Бурные или мирные, они всегда как стихийные бедствия: случаются, и ничего не поделаешь. В ходе некоторых миграций представители целого народа постепенно переселяются из одного ареала в другой. И не столько значения имеет, какое их число осталось на исходной территории, сколь важно, в какой мере они переменили культуру на территории прибытия. Известны великие миграции с востока на запад, тогда народы с Кавказа повлияли и на культуру, и на биологическую наследственность западных наций. Известны миграции так называемых «варваров», которые наводнили Римскую империю и породили новые царства и новые культуры, прозванные «романо-варварскими» или «романо-германскими». Состоялась европейская миграция на американский континент, как от восточного берега вдаль и вдаль, до самой Калифорнии, так и от Карибских островов и Мексики на юг и на юг, вдоль до самой Огненной Земли. Хотя отчасти это заселение и программировалось политически, я все же именую его миграцией, потому что белые, приехавшие из Европы, не переняли обычаи и культуру местных, а основали новое общество, к которому даже местным (тем, кто остался жив) пришлось адаптироваться.

Мы знаем прерванные миграции, к примеру продвижение арабских народов на Пиренейский полуостров. Знаем формы запрограммированной, точечной, но не менее влиятельной миграции — населения Европы на восток и на юг (что привело к образованию так называемых постколониальных наций), при которой мигранты коренным образом изменили культуру автохтонных народов. До сих пор не разработана феноменология типов миграции, но понятно, что миграция и иммиграция — принципиально разные вещи. Мы имеем дело с простой иммиграцией в случаях, когда иммигранты (впущенные в страну по политическому решению) в значительной мере усваивают обычаи края, куда они попали. И перед нами миграция в тех случаях, когда мигранты (от которых невозможно оборонить границы) коренным образом преображают культуру ареала, где расселяются.

На фоне XIX столетия, видевшего толпы иммигрантов, в нашем веке сложно квалифицировать многие феномены. Легкость перемещений несказанна, и крайне трудно определить, имеем ли мы дело с иммиграцией или же с миграцией. Безусловно, наблюдается неудержимое движение с юга на север (африканцев и выходцев с Ближнего Востока — в Европу), индийцы наводнили собой Африку и острова Тихого Океана, китайцы присутствуют везде, японцы в виде своих производственных и экономических структур тоже присутствуют везде, хотя физически и не снимаются с места в массовом порядке.

Как отличить иммиграцию от миграции, если вся планета стала пространством сплошных перемещений? Думаю, что различить можно. Как уже было сказано, иммиграция поддается политическому контролю, а миграция нет; миграция сродни явлению природы. Пока речь идет об иммиграции, можно надеяться удержать иммигрантов в гетто, дабы они не перемешивались с местными. В случае миграций гетто немислимы и метизация, становится управляемой.

Феномены, которые Европа все еще пытается воспринимать как иммиграцию, в действительности представляют собой миграцию. Третий мир стучится в двери Европы и входит в них, даже когда Европа не согласна пускать. Проблема состоит не в том, чтобы решать

(политики любят делать вид, будто они это решают), можно ли в Париже ходить в школу в парандже, или сколько мечетей надо построить в Риме. Проблема, что в следующем тысячелетии (я не пророк и точную дату назвать не обязываюсь) Европа превратится в многорасовый, или, если предпочитаете, в многоцветный континент. Нравится вам это или нет, но так будет. И если не нравится, все равно будет так.

Эта смычка (или стычка) культур может привести к кровавым последствиям, и я уверен, что в определенной степени эти последствия проявятся, и будут неизбежны, и будут тянуться долго. Однако расисты (по теории) должны быть вымирающей расой. Какой-то римский патриций не мог снести, что *гражданами Рима* становились и галлы, и сарматы, и евреи, такие, как св. Павел, и что на императорский трон стало можно претендовать даже африканцам (куда они и водрузились в конце концов). Этот патриций теперь забыт, история вытерла о него ноги. Римская цивилизация была цивилизацией метисов. Расисты скажут, что потому она и развалилась. Но на развал ушло пять сотен лет. Я сказал бы, что подобный прогноз позволяет и нам строить планы на будущее.

## 2. Нетерпимость

Принято считать фундаментализм и интегрализм тесно связанными понятиями и двумя наиболее явными формами нетерпимости. Я лезу в превосходные словари, такие, как «Малый Робер» и «Исторический словарь французского языка», и нахожу под определением «фундаментализм» прямую отсылку к «интегрализму». То есть нас подталкивают к выводу, что все фундаменталисты — интегралисты, и то же верно для обратного.

Будь даже это справедливо, и то не значило бы, что все нетерпимцы являются фундаменталистами и интегралистами. Хотя в настоящий момент мы и сталкиваемся с различными формами фундаментализма, хотя проявления интегрализма и присутствуют повсеместно, проблема нетерпимости куда глубже и куда опаснее.

Согласно истории терминов, фундаментализмом именуется один из принципов герменевтики, относящийся к интерпретации *священного текста*. Современный западный фундаментализм родился среди протестантов США в XIX веке. Главная его характеристика — решение дословно интерпретировать Писание, в особенности касательно тех представлений о космологии, которые наука того времени, казалось, ставила под сомнение. Поэтому отвергались, зачастую нетерпимо, все учения, которые могли подрывать веру в библейский текст, к примеру победоносно развивавшийся дарвинизм.

Подобная форма фундаменталистской буквализации существовала издавна, даже в пору отцов Церкви велись споры между приверженцами буквы и защитниками более мягкой герменевтики, такой, к примеру, как у св. Августина. Но в современном мире жесткий фундаментализм мог быть только протестантским, если исходить из того, что, дабы быть фундаменталистом, следует считать, что истина дается интерпретацией Библии. В католической же среде, напротив, интерпретацию гарантирует авторитет Церкви, и в этой среде, следовательно, эквивалент протестантского фундаментализма может принять в крайнем случае форму традиционализма. Не стану здесь анализировать (предоставлю специалистам) природу мусульманского и еврейского фундаментализма.

Непременно ли фундаментализм нетерпим? В плане герменевтики — непременно, но не обязательно в политическом плане. Можно вообразить фундаменталистскую секту, в которой полагается, что избранные ею имеют привилегию правильного истолкования Писания, но при этом не проводится ни под каким видом прозелитизм и прочие, не избранные, не принуждаются разделять верования секты, равно как не ведется борьба за строительство политического общества, основывающегося на этих верованиях.

Под интегрализмом же понимается политическая и религиозная позиция, при которой религиозные принципы должны в то же время определять собой модель политической жизни и основу государственных законов. Если фундаментализм и традиционализм принципиально консервативны, интегрализмы бывают и прогрессистского, и революционного направления. Известны католические интегралистские направления, не являющиеся фундаменталистскими,

борющиеся за общество, целиком вдохновленное религиозными принципами, но при этом не навязывающие всем буквальную интерпретацию Писания и, вполне возможно, готовые принять теологию в духе Тейяра де Шардена.

Оттенки могут быть сколь угодно тонкими. Возьмем американский случай *political correctness*. Этот принцип призван насаждать толерантность и признание любой инакости, религиозной, расовой и сексуальной, и при всем том он становится новой формой фундаментализма, которая канонизирует до степени ритуала язык повседневного общения и предпочитает букву духу — можно даже дискриминировать слепых, но с неукоснительной деликатностью именуя их «слабовидящими», а в особенности можно сколько угодно дискриминировать тех, кто отклонился от обязанности соблюдать правила *politically correct*.

А расизм? Наци-фашистский расизм был безусловно тоталитарен, претендовал на научность, но при этом в его учении о расе не было ничего фундаменталистского. Ненаучный расизм, какова современная итальянская Лига, не имеет тех культурных корней, какие были в псевдонаучном расизме (и вообще не имеет никаких культурных корней), но тем не менее это расизм.

А нетерпимость? Сводима она к этим различиям и родственным связям между фундаментализмом, интегрализмом и расизмом? Известны нерасистские формы нетерпимости (преследование еретиков или нетерпимость диктатур к оппозиции). Нетерпимость — это нечто гораздо более глубокое, располагающееся у самого истока тех феноменов, которые я проанализировал.

Фундаментализм, интегрализм, псевдонаучный расизм суть теоретические позиции, предполагающие некую *доктрину*. Нетерпимость предшествует всем доктринам. В этом смысле нетерпимость имеет корни биологические, она наличествует у животных в виде раздела территории, она основана на эмоциональных реакциях, зачастую поверхностных, — мы не переносим тех, кто отличается от нас, потому что кожа у них иного оттенка, потому что говорят они на языке, которого мы не понимаем, потому что едят лягушек, собак, обезьян, свиней, чеснок, потому что у них татуировки...

Нетерпимость к иному или к неизвестному естественна у ребенка, в той же мере, в какой и инстинкт завладеть всем, что ему нравится. Ребенка приучают к терпимости шаг за шагом, так же как приучают уважать чужую собственность, приучают раньше, чем он научается контролировать собственный сфинктер. К сожалению, если управлять своим телом в конце концов обучаются все, толерантность остается вечной лакуной образования и у взрослых, потому что в повседневной жизни люди постоянно травмируются инакостью. Ученые часто изучают проблемы инакости, но мало занимаются дикарской нетерпимостью, поскольку она ускользает от всякого определения и критического подхода.

А между тем вовсе не учения об инакости порождают дикарскую нетерпимость. Наоборот, эти доктрины по сути обыгрывают бесформенную нетерпимость, существовавшую изначально. Возьмем охоту на ведьм. Она порождение не темных веков, а новых времен. Трактат *Malleus Maleficarum* написан незадолго до открытия Америки, он современник флорентийского гуманизма. Сочинение *Demonomanie des sorciers* Жана Бодена вышло из-под пера человека Возрождения, жившего после Коперника. Я не собираюсь здесь описывать, почему современный мир породил теоретические обоснования охоты на ведьм. Я хочу только сказать, что это учение могло утвердиться благодаря существовавшему в народе предубеждению против ведьм. Оно встречается и в классической древности (Гораций), и в Лонгобардском эдикте, и в *Summa theologica* Фомы Аквинского. Существование ведьм учитывалось в повседневной реальности, точно так же как в уголовном кодексе учитывается существование карманников. Без этих народных представлений не могла бы быть создана научная теория ведьмачества и не могла бы быть введена систематическая практика преследования ведьм.

Псевдонаучный антисемитизм рождается в ходе XIX столетия, становится тоталитарной антропологией и индустриальной практикой геноцида только в нашем веке; но он бы не мог родиться, если бы не велась из глубины столетий, с самых давних времен отцов Церкви, антииудаистская полемика и если бы не практиковался деятельный антисемитизм в простонародье во всех тех областях, где существовали гетто. Антиякобинские теории

еврейского заговора в начале прошлого века не насадили антисемитизм в массах, а обыграли ту ненависть к инаким, которая уже существовала.

Самая опасная из нетерпимостей — это именно та, которая рождается в отсутствие какой бы то ни было доктрины как результат элементарных импульсов. Поэтому она не может ни критиковаться, ни сдерживаться рациональными аргументами. Теоретические посылки *Mein Kampf* могут быть опровергнуты залпом довольно простых аргументов, но, если идеи, которые возглашались в этом сочинении, пережили и переживут любое возражение, это потому, что они опираются на дикарскую нетерпимость, не проницаемую ни для какой критики. Мне внушает больше опасений современная итальянская Лига, чем «Национальный фронт» Ле Пена. За Ле Пенем стоит хотя бы «предательство клерков», в то время как за Босси не стоит ничего, кроме дикарских импульсов.

Вы видите, что делается в настоящее время в Италии: двенадцать тысяч албанцев высадились на наши берега в течение одной недели или десяти дней. Официально принятой и показательной моделью поведения по отношению к ним было «дать убежище». Большинство тех, кто хотел бы остановить этот человеческий поток, грозящий сделаться неуправляемым, использует экономические и демографические доводы. Но любая теория утрачивает силу пред лицом ползучей нетерпимости, которая день за днем все крепнет и усиливается. Дикарская нетерпимость основывается на замкнутом круге категорий, который впоследствии перенимает любая расистская доктрина: если албанцы, проникшие в Италию в предшествующие годы, ударились большей частью в воровство и проституцию (что чистая правда), значит, все албанцы вообще или проститутки, или воры.

Этот замкнутый круг чудовищен, потому что он ежеминутно соблазняет каждого из нас, достаточно, чтоб у нас сперли чемодан в аэропорту какой-либо страны, чтоб мы вернулись домой в уверенности, что тамошним людям ни в чем доверять нельзя.

И еще, самая ужасная нетерпимость — нетерпимость людей бедных, именно они первыми впадают в неприятие инакости. Богачам расизм не присущ. Богачи произвели на свет, в крайнем случае, расистские теории; а бедные люди изобрели расистскую практику, гораздо более опасную.

Интеллигенты не могут бороться против дикарской нетерпимости, потому что пред лицом чистой животности без мыслей мысль оказывается безоружной. Однако, когда они начинают бороться против нетерпимости теоретической, бывает уже слишком поздно, потому что, если нетерпимость оформилась в доктрину, значит, бороться с ней опоздали, а те, кто должен был бы бороться, становятся самыми первыми жертвами.

И все же именно тут наша работа. Приучать к терпимости людей взрослых, которые стреляют друг в друга по этническим и религиозным причинам, — только терять время. Время упущено. Это значит, что с дикарской нетерпимостью надо бороться у самых ее основ, неуклонными усилиями воспитания, начиная с самого нежного детства, прежде чем она отольется в некую книгу и прежде чем она превратится в поведенческую корку, непробиваемо толстую и твердую.

### 3. Нетерпимое

Существуют раздражающие вопросы, к примеру, когда тебя спрашивают, что случилось, в ту самую минуту, когда ты только-только прикусил язык. «А ты что думаешь об этом?» — этот вопрос постоянно обращают ко мне в дни, когда все (за редкими исключениями) думают одно и то же о процессе Прибке<sup>20</sup>. И наступает какое-то разочарование, когда ты отвечаешь, что, разумеется, возмущен и ошарашен. Потому что, в сущности, все вопросы задаются в надежде услышать хоть слово, хоть какое-то объяснение, чтоб уменьшились возмущение и ошарашенность.

И мне почти стыдно отвечать, зарабатывать таким дешевым способом всенародный

<sup>20</sup> Процесс 1993-1997 гг. по военным преступлениям Рудольфа Прибке.

консенсус в диапазоне от Обновленной Компартии до фашистского Национального альянса. Похоже, что римский военный трибунал невероятным образом наконец объединил итальянцев. Мы все едины, все на стороне правоты.

О, если бы процесс Прибке представлял собой не более чем единичный случай, по правде говоря довольно-таки гадкий (нераскаянный злодей, трусливые члены судилища), и не вовлекал бы глубинным образом всех нас, не свидетельствовал бы о том, что и мы совсем не невинны!

Рассмотрим происшедшее в терминах действующего законодательства. Это законодательство, возможно, позволяло бы приговорить Прибке к пожизненному заключению, однако с точки зрения юриспруденции нельзя в общем сказать, что римский военный суд повел себя неожиданно. Подсудимый сознался в жутком преступлении; следовало проанализировать, имели ли место смягчающие обстоятельства, и это обязан сделать всякий суд. Так вот, то были суровые времена, Прибке был не героем, а жалким трусом, даже если бы он осознавал огромность преступления, он страшился расплаты за последствия отказа; он прикончил лишних пять человек, но всем известно, что, когда в голову ударяет кровь, человек превращается в животное; он, конечно, виноват, что говорить, но дадим ему не пожизненное заключение, а просто много лет; с точки зрения суда все аккуратно, вышел срок давности, закроем эту печальную главу. Мы ведь поступили бы так же с Раскольниковым, а он убил старуху процентщицу, и без оправданий военного времени?

Это мы, мы сами сначала выдали римскому военному суду мандат выносить решение на основании ныне действующего законодательства, а теперь выступаем с точки зрения моральных обязательств, с позиций страсти; они резонно отвечают, что работают служителями закона, а не киллерами.

Большинство возражений, в свою очередь, исходит из интерпретации того, что написано в кодексе. Прибке был обязан выполнять приказ, потому что таковы военные законы военного времени... Да, но и у наци-фашистов законы были всякие, и Прибке, если бы воспротивился несправедливому приказу, пошел бы не под военный, а под гражданский суд, потому что СС являлось добровольной организацией и составляло часть полиции... Да, но международные конвенции предусматривают право на репрессии... Да, на репрессии, но лишь при объявленной войне, а Германия вроде бы не объявляла войну Итальянскому королевству, и следовательно, немцы незаконно оккупировали Италию, и нечего им жаловаться, если партизаны, переодетые дорожными рабочими, подкладывали динамит под их военные конвои...

Нам суждено оставаться в этом заколдованном круге до тех самых пор, пока мы не заявим во весь голос, что пред лицом исключительных событий ненормально применять действующее законодательство, а следует принять ответственность и ввести новые законы и эти законы употребить.

Мы до сих пор не сделали должных выводов из эпохального события — Нюрнбергского процесса. В терминах узко понятой законности или международно принятых норм, процесс этот являлся произволом. Нас учили, что война представляет собой игру по правилам, что в ее финале побежденный король обнимается с победителем-кузеном. А вы, вместо этого, что творите? Берете побежденных и вешаете на виселице? Вот именно, отвечают те, кто организовал Нюрнберг. Мы думаем, что в этой войне происходили события, выходящие за рамки терпимого, и поэтому мы меняем правила. Однако нестерпимы эти события, победители, в вашей системе ценностей! У нас же ценности иные — что, вы их не уважаете? Нет, не уважаем, потому что победили мы, а среди ваших ценностей было превознесение силы, так вот мы и применяем силу: вешаем вас. Что же теперь будет по окончании войн? Будет, что тот, кто их развязывает, пусть знает: если он проиграет, будет повешен. Теперь он хорошо подумает, прежде чем развязывать. Но вы тоже творили жестокости! Да, но это с вашей точки зрения, а вы проиграли, а мы выиграли, и поэтому мы вешаем вас, а не наоборот. Вы принимаете на себя ответственность за такое? Мы принимаем на себя полную ответственность.

Сам я противник смертной казни, и, если бы я поймал Гитлера, я посадил бы его в тюрьму. Поэтому теперь и далее «повесить» я употребляю в символическом смысле, в смысле тяжкого и торжественного наказания. Но, если вывести за скобки виселицу, Нюрнбергский процесс безупречен. Сталкиваясь с нестерпимыми поступками, надо иметь смелость изменять правила, включая и законы. Может голландский трибунал разбирать действия кого-то из

Сербии или из Боснии? Согласно старым правилам — нет, согласно новым — может.

В конце 1982 года в Париже прошла конференция по проблемам вмешательства во внутренние дела, в ней участвовали юристы, военные, добровольцы-пацифисты, философы, политики. С каким правом и по каким критериям осмотрительности можно вмешиваться в дела другой страны? Как понять, происходит ли в ней нечто нестерпимое для международного сообщества?

За вычетом простого случая — страны, где остается у власти законное правительство, и оно просит помощи против чьей-либо агрессии, — все остальные случаи представляют собой материал для тончайших дистинкций. Кто может просить о вмешательстве, кроме правительства? Группа граждан? В какой степени группа граждан может представлять от целой страны, в какой степени вмешательство не прикрывает благими целями ту же агрессию и империалистические притязания (поучителен пример Сагунто<sup>21</sup>)? Вмешиваться ли, когда то, что происходит в этой стране, противоречит нашим этическим принципам? Но совпадают ли наши этические принципы с их этическими принципами? Вмешиваться, если в этой стране тысячелетиями существует ритуальное людоедство, которое для нас кошмар, а для них — нормальное богослужение? Не так ли прошел по лицу земли белый человек со своим тяжеловесным просвещением и растоптал древние, хотя и не похожие на нашу, цивилизации?

Единственный для меня приемлемый ответ: вмешательство напоминает революцию. Не существует закона, согласно которому революция — это хорошо. Как раз наоборот, революции противоречат всем законам и обычаям. Различие между вмешательством и революцией, правда, в том, что решения о международных вмешательствах не принимаются срочно, на фоне пиковой ситуации или неконтролируемого народного восстания, а разрабатываются в процессе переговоров между различными правительствами и различными дипломатами. Обсуждая, они приходят к выводу, что при всем уважении к мнениям, обычаям, к принятой практике и к бытующим у других верованиям нечто представляется выходящим за пределы терпимого. Терпеть нестерпимое означает ущемлять собственную личность. Если нечто нестерпимо, то надо принять на себя ответственность и определить, в чем же состоит нестерпимость. А затем действовать и быть готовыми дать ответ в случае ошибки.

Когда же налицо нестерпимость неслыханная, значит, порог нестерпимости уже не совпадает с тем, который предусматривался прежними законами. Меняется порог — будем менять законы. Разумеется, при условии, что консенсус касательно закона о новом пороге нестерпимости достаточно широк, что он выходит за границы отдельной нации, что он в какой-то степени апробируется всем «сообществом». Расплывчатое условие, однако на такой же условности основана, скажем, наша общая вера во вращение Земли. Как бы то ни было, выбор делать надо.

Фашизм и уничтожение евреев обусловили изменение порога нестерпимости. Геноцидов история человечества видела немало, и более-менее мы как-то примирились со всеми. Мы были слабы, мы были варвары, нам было неведомо, что делается за десять километров от нашего хутора... Но вот геноцид оформился в научную теорию, теория воплотилась в практику, к обществу обратились за поддержкой этой теории, в том числе и за поддержкой философской, и теория стала пропагандироваться в качестве образца к подражанию для всей планеты.

Спаслось от этого удара только наше моральное чувство, в то время как были затронуты и наша наука, и наша культура, и наши представления о добре и зле. Затронуты, поражены и почти что обнулены. Невозможно не реагировать на подобный вызов. А реагировать можно, лишь сделав все, чтобы не только непосредственно после преступлений, но и через пятьдесят лет, и в будущий век, и во веки веков то, о чем мы сейчас говорим, воспринималось как нестерпимое.

И применительно к подобной нестерпимости смрадной мерзостью кажется вся эта распространенная манера торговаться и подсчитывать, сколько было уничтожено — пять или

<sup>21</sup> Город в Испании, в 228 году до н. э. заключивший военный союз с Римом против завоевавшего Пиренеи Ганнибала, что послужило причиной 2-й Пунической войны.

шесть миллионов... как будто, будь их четыре, два или один, можно было бы полюбовно примириться. А если бы их не потравили газом, а они умерли бы от дурного содержания? А если бы они умерли просто от аллергии на татуированные номера?

Однако из подобной постановки вопроса логично проистекает вывод, что на виселицу следовало бы отправлять всех, даже тех, от чьей руки погиб всего только один человек, даже просто за неоказание помощи. Новое представление о нестерпимости распространяется не только на геноцид, но и на теоретизацию геноцида. А теоретизация охватывает очень многих и налагает ответственность даже на батраков человекоубийства. Несущественны разграничения действий и намерений, разговоры о чистосердечных заблуждениях и о человеческой ошибке. Остается только объективная ответственность. Но я же (говорят они) заталкивал людей в газовую камеру потому, что мне велели! Я на самом деле думал, будто они там купаются! Неважно, я очень сожалею, но вижу в вас образцовое проявление того, что нестерпимо, и тут не имеют силы все прежние законы со всеми их смягчающими обстоятельствами. Вас тоже мы отправим на виселицу.

Чтобы усвоить подобные правила поведения (которые распространяются и на нестерпимое будущее, вынуждающее нас день за днем решать для себя, в чем же состоит нестерпимость), общество должно быть готово к решениям, и в частности к жестким, и должно быть солидарно в принятии ответственности. Поэтому так беспокоит процесс Прибке: ощущается, что от решительности мы пока еще очень далеки. Далеки как молодые, так и старые, и далеки не одни итальянцы. Все в равной степени умыли руки: закон есть закон, так что передадим все это дело в трибунал.

Показывает ли приговор в Риме, что солидарность в определении порога нестерпимости сейчас еще более далека, чем прежде? Разумеется, нет. Она была довольно-таки далека и до суда. И это гложет и не дает покоя. Тяжко чувствовать, среди всех прочих, и самого себя в ответе за этот приговор.

Тогда нечего спрашивать, по ком это там звонит колокол.